

ОКТАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

МАРК КОЛОСОВ — Три встречи
П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК — Дикое поле
А. КАРАВАЕВА — Лесозавод
А. ГАМБАРОВ — В трясине
М. ШОЛОХОВ — Тихий Дон

С Т И Х И: М. Исаковского,
И. Доронина, Акопа Акопяна,
Н. Райкова, В. Гусева, В. Вар-
мужа, Д. Петровского, Марии Ер-
шовой, Ф. Добрынина, Михаила
Юрина

О Ч Е Р К И: Е. Ломтатидзе — «За-
рисовки карандашом»

ЛИТЕРАТУРА:

П. ЛАЗЬЯН — Решения XV парт-
съезда и художественная ли-
тература
В. ВЕШНЕВ — Преступление Вл.
Бахметьева

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

№ 10 1938

БНИЗ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О К Т Я Б Р Ъ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ
ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

★

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

МАРТ 1928

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА * ЛЕНИНГРАД

**Отпечатано в 7-й типографии
«ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ»**

Мосполиграф

Москва, Арбат, Филипповский, 13

Тираж 3.000 экз. Мосгублит № 5390.

ТИХИЙ ДОН

(Роман)

*

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение)

Часть третья

I

В МАРТЕ 1914 года в ростепельный веселый день пришла Наталья к свекру. Пантелей Прокофьевич заплетал пушистым сизым хвостом разломанный бугаем плетень. С крыш капало, серебрились сосульки, дегтярными полосами чернели на карнизе следы стекавшей когда-то воды; ласковым телком притулилось к оттаявшему бугру рыжее потеплевшее солнце, и земля набухла на меловых мысах, залысинами стекавших с Обдонского бугра; малахитом зеленела ранняя трава.

Наталья, изменившаяся и худая, подошла сзади к свекру и наклонила изуродованную, покривленную шею.

— Здорово живете, батя.

— Натальюшка? Здорово, милая, здорово! Эх, ты... — засуетился Пантелей Прокофьевич.

Хворостина, выпавшая из рук его, свилась и выпрямилась.

— Ты чево ж это глаз не кажешь? Ну, пойдем в курени, погоди, мать-то тебе взрадуется.

— Я, батя, пришла... — Наталья неопределенно повела рукой и отвернулась, — коль не прогоните, останусь навовсе у вас...

— Што ты, што ты, любушка! Аль ты нам чужая? Григорий вон прописал в письме... Он, девка, об тебе наказывал справиться.

Пошли в курени. Пантелей Прокофьевич хромал суетливо и обрадованно. Ильинишна, обнимая Наталью, уронила частую цепку слез, шепнула, сморкаясь в завеску:

— Дитя б надоть тебе... Оно б его присушило. Ну, садись. Сем-ка я блинчиков достану?

— Спаси Христос, маманя. Я вот... пришла...

Дуняшка вся в зареве румянца вскочила с надворья в кухню и с разбегу обхватила натальины колени.

— Бесстыжая! Забыла про нас!..

— Сбесилась, кобыла! — крикнул притворно-строго на нее отец.

— Большая-то ты какая... — роняла Наталья, разжимая дуняшкины руки и заглядывая ей в лицо.

Заговорили разом все, перебивая друг друга и замолкая. Ильинишна, подпирая щеку ладонью, горюнилась, с болью вглядываясь в непохожую на прежнюю Наталью.

— Совсем к нам? — допытывалась Дуняшка, теребя натальины руки.

— Кто его знает...

— Чево ж там, родная жена, ды где-й-то будет жить. Оставайся! — решила Ильинишна и гостила сноху, двигая по столу глиняную чашку, набитую блинцами.

Пришла Наталья к свекрам после долгих колебаний. Отец ее не пускал, покрикивал и стыдил, разубеждая, но ей неловко было после выздоровления глядеть на своих и чувствовать себя в родной когда-то семье почти чужой. Попытка на самоубийство отдалила ее от родных. Пантелей Прокофьевич сманывал ее все время после того, как проводил Григория на службу. Он твердо решил взять ее в дом и примирить с Григорием. С того дня Наталья осталась у Мелеховых. Дарья внешне ничем не проявляла своего недовольства; Петро был приветлив и родственен, а косые редкие взгляды Дарьи искупались горячей дуняшкиной привязанностью к Наталье и отечески любовным отношением стариков.

На другой же день, как только Наталья перебралась к свекрам, Пантелей Прокофьевич под свой указ заставил Дуняшку писать Григорию письмо.

«Здравствуй, дорогой сын наш, Григорий Пантелевич! Шлем мы тебе нижайший поклон и от всего родительского сердца с матерью твоей Василисой Ильинишной родительское благословение. Кланяется тебе брат Петро Пантелевич с супругой Дарьей Матвеевной и желает тебе здравия и благополучия; еще кланяется тебе сестра Евдокея и все домашние. Письмо твое, пущенное от февраля пятого числа, мы получили и сердечно благодарим за него. А если, ты прописал, конь засекается, то заливай ему свиным нутряным салом, ты знаешь, и на задок не подковывай, коли нету склизости, или, сказать, гололедницы. Жена твоя Наталья Мироновна проживает у нас и находится в здравии и благополучии. Сушеной вишни мать тебе посылает и пару шерстяных чулок, а еще сала и разного гостинцу. Мы все живы и здоровы, а дите у Дарьи померло, о чем сообщаем. Надьсь крыли с Петром сарай, и он тебе велит коня

блость и сохранять. Коровы потелились; старая кобыла починает, отбила вымя и видно, как жеребенок у ней в пузе стучает. Покрыл ее с станишной конюшни жеребец по кличке «Донец», и на пятой неделе ждем. Мы рады об твоей службе и что начальство одобряет тебя. Ты служи, как и полагается. За царем служба не пропадет. А Наталья теперича будет у нас проживать, и ты об этом подумай. А ишо беда, на масленую зарезал зверь трех овец. Ну, бывай здоров и богом хранимый. Про жену не забывай, мой тебе приказ. Она ласковая баба и в законе с тобой. Ты борозду не ломай и отца слухай.

Твой родитель старый урядник Пантелей Мелехов».

Полк Григория стоял в четырех верстах от русско-австрийской границы, в местечке Радзивилово. Григорий писал домой изредка. На сообщение о том, что Наталья пришла к отцу, ответил сдержанно и просил передать ей поклон; содержание писем его было уклончиво и мутно. Пантелей Прокофьевич заставлял Дуняшку или Петра перечитывать их по несколько раз, вдумываясь в затаенную меж строк, неведомую григорьеву мысль. Перед Пасхой он в письме прямо поставил вопрос о том, будет ли Григорий по возвращении со службы жить с женой или попрежнему с Аксиньей. Григорий ответ задержал, после Троицы получили от него короткое письмо. Дуняшка читала быстро, глотая концы слов, и Пантелей Прокофьевич с трудом поспешал улавливать смысл, откидывая бесчисленные поклоны и расспросы. В конце письма Григорий касался вопроса о Наталье: «...Вы просили, штоб я прописал, буду я, аль нет, жить с Натальей, но я вам, батя, скажу, што отрезанную краюху не прилепишь. И чем я Наталью теперь примолвлю, как у меня, сами знаете, дите? А сулить я ничего не могу, и мне об этом муторно тутарить. Надьсь поймали на границе жида с контрабандой, и нам довелось его повидать, об'ясняет, што в скорости будет с австрийцами война, и царь ихний будто приезжал к границе, осматривал, откель зачинать войну и какие земли себе запахать. Как зачнется война, может, и я живой не буду, загодя нечего решать».

Наталья работала у свекра и жила, взрачивая бессознательную надежду на возвращение мужа, опираясь на нее надломленным духом. Она ничего не писала Григорию, но не было в семье человека, кто бы с такой тоской и болью ожидал от него письма.

Обычным нерушимым порядком шла в хуторе жизнь: возвратились отслужившие сроки казаки, по будням серенькая работа неприметно сжирала время, по воскресеньям с утра валили в церковь семейными табунами; шли казаки в мундирах и праздничных шароварах, длинными шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго

затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненых рукавах, подопревших и слинявших подмышками от остро-сладкого, бьющего в нос, как горчица, бабьего пота.

А на квадратном фесе площади дыбились задртые оглобли повозок, визжали лошади, сновал разный народ; около пожарного сарая болгары-плантаторы торговали овощной снедью, разложенной на длинных рядах; сзади них кучились оравами ребятишки, разглядывая распряженных верблюдов, надменно оглядывавших базарную площадь и толпы народа, перекипавшие краснооколовыми фуражками и цветастой россыпью бабьих платков. Верблюды пенно перетирали бурьянную жвачку, отдыхая от постоянной работы на чигире ¹⁾, и в зеленоватой сонной полуде застывали их глаза.

По вечерам в топотном звоне стонали улицы, игрища всплескивались в песнях, в пляске под гармошку, и лишь поздней ночью догорали в теплой сухмени последние на окраинах песни.

Наталья на игрища не ходила, с радостью выслушивала бесхитростные дуняшкины рассказы. Невидя выравнилась Дуняшка в статную и по-своему красивую девку. Рано вызрела, как яблоко-скороспелка. В этом году, отрешая от ушедшего отрочества, приняли ее старшие подруги в девичий свой круг. Ростом вышла Дуняшка в отца: приземистая, собой смуглая. Пятнадцатая весна минула, не выравнив тонкую угловатую ее фигуру. Была в ней смесь, жалкая и наивная, детства и расцветающей юности: крепили и заметно выпирали под кофтенкой небольшие, с кулак, груди, раздавалась в плечах, а в длинных, чуть косых разрезах глаз застенчивые и озорные искрились черные, в агатовой синеве белков, миндалины глаз. Приходя с игрищ, она Наталья одной рассказывала немудрые свои секреты.

— Наташа, свѣточка, што-то хочу рассказать...

— Ну, расскажи.

— Мишка Кошевой вчерась целый вечер со мной просидел на дубах возля гамазинов ²⁾.

— Чево же ты скраснелась?

— И ничуть!

— Глянь в зеркало, чисто полымя.

— Ну, погоди! Ты ж пристыдила...

— Рассказывай, я не буду.

Дуняшка смуглыми ладонями растирала полыхавшие щеки и, прижимая пальцы к вискам, вызванивала молодым беспричинным смехом.

— Ты, гутарит, как цветок лазоревый.

¹⁾ Чигирь — поливалка.

²⁾ Гамазин — длинный амбар для ссыпки общественного хлеба.

— Ну-ну? — подбадривала Наталья, радуясь чужой радости и забывая о своей, растоптанной и минувшей.

— А я ему: «не бреши, Мишка!», а он божится. — Дуняшка рассыпала смех по горнице бубенцами, мотала головой, и черные, туго заплетенные косички ящерицами скользили по плечам ее и спине.

— Чево ж он ишо плел?

— Утирку, мол, дай на память.

— Дала?

— Нет, говорю, не дам. Поди у своей крали попроси. Он ить с ерофеевой снохой... Она жалмерка, гуляет.

— Ты подальше от нево.

— Я и так далеко.— Дуняшка, осиливая пробивающуюся улыбку, рассказывала: — с игрищ идем домой, трое нас девок, и догоняет нас пьяный дед Михей. «Поцелуйте, — шумит, — хороши мои, по семачку отвалю». — Как кинется на нас, а Нюрка ево хворостиной через лоб. Насилу убегли!

... Сухое тлело лето. Против хутора мелел Дон, и там, где раньше быстрилось шальное стремя, образовался брод, на тот берег переходили быки, не замочив спины. Ночами в хутор сползала с гребня густая текущая духота, ветер насыщал воздух пряным запахом прижженных трав. На отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым пологом висла над Обдоньем. Ночами густели за Доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром, дождь, — вхолостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые краяхи.

По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископытенное телятами, стонал над бурями, затравевшими могилами.

— Худому быть, — пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски.

— Война пристигнет.

— Перед турецкой кампанией накликал так вот.

— Может опять холера?

— Добра не жди, с церкви к мертвецам слетает.

— Ох, милостивец, Микола-угодник...

Шумилин Мартын, брат безрукого Алексея, две ночи караулил проклятую птицу под кладбищенской оградой, но сыч, невидимый и таинственный, бесшумно пролетал над ним, садился на крест в другом конце кладбища, сея над сонным хутором тревожные клики. Мартын, непристойно ругался, стрелял в черное обвислое пузо проплывавшей тучи и уходил. Жил он тут же, под боком. Жена его, пугливая, хворая баба,

плодовитая, как кроличиха, рожавшая каждый год, встречала мужа упреками:

— Дурак, истованный дурак! Што он тебе, вражина, мешает, што ли? А как бог накажет? Хожу вот напоследях, а ну, как не разрожусь через тебя, чертяку?

— Цыть, ты! Небось, разродишься! Расходилась, как бондарский конь. А чево он тут, проклятый, в тоску вгоняет? Беду, дьявол, кличет. случись война, заберут, а ты их вон сколько нащенила,— махал Мартын в угол, где на полсти плелись мышинные писки и храп спавших вповалку детей.

Мелехов Пантелей, беседея на майдане со стариками, веско доказывал:

— Пишет Григорий наш, што астрицкий царь наезжал на границу и отдал приказ, штоб всю свою войску согнать в одну месту и итить на Москву и Петербург.

Старики вспоминали минувшие войны, делились предположениями:

— Не бывать войне — по урожаю видать.

— Урожай тут не при чем.

— Студенты мутять, небось.

— Мы об этом последние узнаем.

— Как в японскую войну.

— А коня сыну-то справил?

— Чево там загодя...

— Брехни это!

— А с кем война-то?

— С турками, из-за моря. Морю никак не разделять.

— И чево там мудренова? Разбили на улешу, вот как мы траву, и дели!

Разговор замазывался шуткой, и старики расходились.

Караулил людей луговой скоротечный покос, доцветало за Доном травье невровень степному, квелое и без духа. Одна земля, а соки разные высасывают травы: за бугром в степи клёклый чернозем, что хрящ, табун прометется — копытного следа не увидишь; тверда земля, и растет по ней трава сильная, духовитая, лошади по пузо, а над Доном и за Доном мочливая, рыхлая почва гонит травы безрадостные и никудышные, брезгует ей и скотина в иной год.

Отбивали косы по хутору, выстругивали грабельники, бабы квасы томили косарям на утеху, а тут приспел случай, колыхнувший хутор от края до другого: приехал становой пристав с следователем и с чернозубым мозглявеньким офицером в форме, досель невиданной; вытребовали атамана, согнали понятых и напрямиком направились к Лукешке-Косой.

Следователь нес в руке парусиновую фуражку с форменным значком. Шли над плетнями, левой стороной улицы, по стежке лежали солнечные пятна, и следователь, наступая на них запыленными ботинками, расспрашивал атамана, по-петушину забежавшего наперед.

— Приезжий Штокман дома?

— Так точно, ваше благородие.

— Чем он занимается?

— Известно, мастеровщина... стругает себе.

— Ничего не замечал за ним?

— Никак нет.

Пристав на ходу давил пальцами угнездившийся меж бровей прыщ, отдувался, испревая в суконном мундире. Чернозубый офицерик ковырял в зубах соломинкой и морщил обмяклые в красноте складки глаз.

— Кто у него бывает? — допытывался следователь, отводя рукой забежавшего наперед атамана.

— Бывают, так точно. Иной раз в карты поигрывают.

— Кто же?

— С мельницы больше, рабочие.

— А кто именно?

— Машинист, весовщик, вальцовщик Давыдка и кое-кто из наших казаков учащает.

Следователь остановился, поджидая отставшего офицера, фуражкой вытер пот на переносице. Он что-то сказал офицеру, вертя в пальцах пуговицу его мундира, и помахал атаману пальцем. Тот подбежал на носках, удерживая дыхание, на шее его вздулись и дрожали перепутанные жилы.

— Возьми двух сидельцев и пойди их арестуй. Гони в правление, а мы сейчас придем. Понятно?

Атаман вытянулся, свисая верхней частью туловища так, что на стоячий воротник мундира синим шнуром упала самая крупная жила, и, мыкнув, зашагал обратно.

Штокман в исподней рубаше, расстегнутой у ворота, сидел спиной к двери, выпиливая ручной пилкой на фанерке кривой узор. Он глянул на следователя и входивших за ним чинов, придавливая ладонью пилку, закусил нижнюю губу, в обратную внутрь.

— Потрудитесь встать. Вы арестованы.

— В чем дело?

— Вы две комнаты занимаете?

— Да.

— Мы у вас произведем обыск.— Офицер, зацепившись шпорой о коврик у порога, прошел к столику и щурясь взял первую книгу.

— Позвольте ключи от этого сундука.

— Чем я обязан, господин следователь?..

— Мы успеем с вами поговорить.

— Понятой, ну-ка!

Из второй комнаты выглянула жена Штокмана, оставив дверь неприкрытой. Следователь, за ним писарь прошли туда.

— Это что такое, — тихо спросил офицер, держа на отлет книгу в желтом переплете.

— Книга, — пожал плечами Штокман.

— Остроты побереги для более подходящего случая. Я тебя прошу отвечать на вопросы иным порядком.

Штокман прислонился к грубке, давая кривую улыбку. Пристав заглянул офицеру через плечо и перевел глаза на Штокмана.

-- Изучаете?

— Интересуюсь, — сухо ответил Штокман, маленькой расческой разделив черную бороду на две равных половины.

— Та-а-а-к-с.

Офицер перелистал страницы и бросил книгу на стол. Он бегло проглядел вторую, отложив ее в сторону, и, прочитав обложку третьей, повернулся к Штокману лицом.

— Где у тебя еще хранится подобная литература?

Штокман прищурил левый глаз, словно целясь.

— Все, что имеется, — тут.

— Врешь! — четко кинул офицер, помахивая книгой — Я требую...

— Ищите!

Пристав, придерживая рукой шашку, подошел к сундуку, где рылся в белье и одежде рябоватый, как видно напуганный происходящим, казак-сиделец.

— Я требую вежливого обращения! — договорил Штокман, целясь прищуренным глазом офицеру в переносицу.

— Помолчите, любезный.

В половине, которую занимал Штокман с женой, перекопали все, что можно было перекопать. Обыск произвели и в мастерской. Усердствовавший пристав даже стены остукал согнутым пальцем.

Штокмана повели в правление. Шел он впереди сидельца, посреди улицы, заложив руку за борт старенького сюртука, другой помахивал, словно отряхая прилипшую к пальцам грязь; остальные шли над плетнями по стёжке, испещренной солнечными крапинами. Следователь так же наступал на них ботинками, обзелененными лебедой, только фуражку не в руке нес, а надежно нахлобучил на бледные хрящи ушей.

Допрашивали Штокмана последним. В передней жались охраняемые сидельцем, уже допрошенные Иван Алексеевич, не успевший вымыть

измазанных мазутом рук, виновато улыбающийся Давыдка, Валет, в накинута на плечи пиджаке, и Кошевой Михаил.

Следователь, роясь в розовой папке, спросил у Штокмана, стоявшего по ту сторону стола:

— Почему вы скрыли, когда я вас допрашивал по поводу убийства на мельнице, что вы член РСДРП?

Штокман молча смотрел выше следовательской головы.

— Это установлено. Вы за свою работу понесете должное,— взвинченный молчанием, кидал следователь.

— Прошу вас начинать допрос,—скучаяще уронил Штокман и, косясь на свободный табурет, попросил разрешения сесть.

Следователь промолчал, шелестя бумагой, глянул исподлобья на спокойно усаживавшегося Штокмана.

— Когда вы сюда прибыли?

— В прошлом году.

— По заданию своей организации?

— Без всяких заданий.

— С какого времени вы состоите членом вашей партии?

— О чем речь?

— Я спрашиваю,— следователь подчеркнул я,— с какого времени вы состоите членом РСДРП?

— Я думаю, что...

— Мне абсолютно неинтересно знать, что вы думаете. Отвечайте на вопрос. Запирательство бесполезно, даже вредно,— следователь отделил одну бумажку и придавил ее к столу указательным пальцем.— Вот справка из Ростова, подтверждающая вашу принадлежность к означенной партии.

Штокман сведенными в кучу глазами шмыгнул по беленькому клочку бумаги, на минуту задержал на нем взгляд и, поглаживая руками колено, твердо ответил.

— С 1907 года.

— Так Вы отрицаете то, что вы посланы сюда вашей партией?

— Да.

— В таком случае, зачем вы сюда приехали?

— Здесь ощущалась нужда в слесарной работе.

— Почему вы избрали именно этот район?

— По этой же причине.

— Имеете ли вы или имели за это время связь с вашей организацией?

— Нет.

— Знают ли они, что вы поехали сюда?

— Наверное.

Следователь чинил перламутровым перочинным ножичком карандаш, топыря губы не смотрел на Штокмана.

— Имеете ли вы с кем из своих переписку?

— Нет.

— А то письмо, которое было обнаружено при обыске?

— Это письмо товарища, не имеющего, пожалуй, никакого отношения ни к какой революционной организации.

— Получали ли вы какие-либо директивы из Ростова?

— Нет.

— С какой целью собирались у вас рабочие мельницы?

Штокман передернул плечами, словно удивляясь нелепости вопроса.

— Просто собирались зимними вечерами... Просто время коротали... Играли в карты...

— Читали запрещенные законом книги,— подсказал следователь.

— Нет. Все они малограмотные.

— Однако, машинист мельницы и все остальные этого факта не отрицают.

— Это неправда.

— Мне кажется, вы просто не имеете элементарного понятия... — Штокман в этом месте улыбнулся, и следователь, роняя разговорную нить, докончил с сдержанной злобой,— просто не имеете здравого рассудка! Вы запираетесь в ущерб самому себе. Вполне понятно, что вы посланы сюда вашей партией, чтобы вести разлагающую работу среди казаков, чтобы вырвать их из рук правительства. Я не понимаю, к чему тут игра в темную? Все равно это не может умалить вашей вины...

— Это ваши догадки. Разрешите закурить? Благодарю вас. Это догадки, притом ни на чем неоснованные.

— Позвольте, читали вы рабочим, посетившим вас, вот эту книжонку? — следователь положил ладонь на небольшую книгу, прикрывая заглавие, сверху черная на белом углилась надпись: «Плеханов».

— Мы читали стихи,— вздохнул Штокман и затянулся папироской, накрепко сжимая промеж пальцев костяной с колечками мундштук.

На другой день хилым и пасмурным утром выехал из хутора напряженный парой почтовый тарантас. В задке, кутая бороду в засаленный куцый воротник пальто, сидел, подремывая, Штокман. По бокам его жались вооруженные шашками сидельцы. Один из них, рябой и курчавый, крепко сжимал локоть Штокмана узловатыми грязными пальцами, косясь на него испуганными белесыми глазами, левой рукой придерживая облезлые ножны шашки.

Тарантас бойко пылил по улице. За двором Мелехова Пантелея, прислонясь к гуменному плетню, ждала их укутанная в платок малень-

кая женщина. Серое лицо ее вытерлось от слез, будто давнишняя хожалая монета, и желтело оно, мутное и жалкое, в колдобинах пустых, налитых слезами глаз.

Тарантас пропылил мимо, и женщина, сжимая на груди руки, кинулась следом.

— Ося!.. Осип Давыдыч!.. Ох, как же!..

Штокман хотел помахать ей рукой, но рябой сиделец, подпрыгнув, склешил на его руке грязные пальцы и дичалым хриплым голосом крикнул:

— Сиди! Зарублю!..

В первый раз за свою простую жизнь видел он человека, который против самого царя шел.

II

Где-то назади в сером слизистом тумане осталась длинная путина от Маньково-Калитвенской слободы до местечка Радзивилово. Пытался Григорий вспомнить проеханный путь, но ничего связного не выходило: красные станционные постройки, татакающие под шатким полом колеса вагона, запах конских испражнений и сена, бесконечные нити рельсов, стекавшие из-под паровоза, дым, мимоходом заглядывавший в дверки вагонов, усатая рожа жандарма на перроне не то в Воронеже, не то в Киеве

На полустанке, где сгружались, толпились офицеры и какие-то в серых свитках бритые люди, разговаривавшие на чуждом, непонятном языке Лошадей долго выводили из вагонов по подмостям, помощник эшелонного командовал седловку и повел триста с лишним казаков к ветеринарному лазарету. Длинная процедура с осмотром лошадей. Разбивка по сотням. Снующие вахмистра и урядники. В первую сотню отобрали светло-гнедых лошадей; во вторую — серых и буланых; в третью — темно-гнедых. Григория отбили в четвертую, где подбирались лошади золотистой масти и просто гнедой, в пятую — светло-рыжей и в шестую — вороной. Вахмистра разбила казаков по-взводно и повела к сотням, разбросанным по именьям и местечкам.

Бравый лупоглазый вахмистр Каргин, с нашивками за сверхсрочную службу, проезжая мимо Григория, спросил:

— Какой станицы?

— Вешенской.

— Куцый? ¹⁾

Григорий, под сдержанный смешок казаков-иностаничников, молча проглотил оскорбление.

¹⁾ Станицы имеют прозвище; Вешенская — кобелями.

Дорога вывела на шоссе. Донские кони, в первый раз увидевшие шоссейную дорогу, ступили на нее, постригивая ушами и храпя, как на речку, затянутую льдом, потом освоились и пошли, сухо выщелкивая свежими, непритертыми подковами. Искромсанная лезвиями чахлая лесков лежала чужая, польская земля. Парился хмурый теплый день, и солнце, тоже как будто не донское, бродило где-то за кисельной занавесью сплошных туч.

Имение Радзивилово находилось в четырех верстах от полустанка. Казак на полпути обогнал быстро прорывсивший эшелонный с ординарцем. До имения доехали в полчаса.

— Это што за хутор? — спросил у вахмистра казачок Митякинской станицы, указывая на купу оголенных макушек сада.

— Хутор? Ты про хутора забывай, стригун митякинский! Это тебе не Область войска донскова.

— А што это, дяденька?

— Какой я тебе дяденька? Ашь, нашелся племяш! Это, братец ты мой, имение княгини Урусовой. Тут самое наша четвертая сотня помещается.

Тоскуя и выглаживая конскую шею, Григорий давил ногами стремена, глядел на аккуратный двухэтажный дом, на деревянную огороду, на чудного вида дворовые постройки внутри двора. Ехали мимо сада, и нагие деревья одинаковым языком шептались с ветром, так же как и там, в покинутой далекой Донщине.

Нудная, одуряющая вывернула свою изнанку жизнь. Молодые казаки, оторванные от работы, томилась первое время, отводя душу в разговорах, перепадавших в свободное время. Сотня селилась в больших крытых черепицей флигелях; спали на нарах, раскинутых над окнами. Григорию выпало место над крайним окном. По ночам далеким пастушечьим рожком брнжала отставшая от рамы, заклеивавшая щель бумага, и Григорий, прислушиваясь в многоголосом храпе к ее звону, чувствовал, как исходит весь каменной, горючей тоской. Тонкое вибрирующее брнжанье щипцами хватало где-то под сердцем; в такие минуты беспредельно хотелось ему встать, пройти в конюшню, заседлать гнедого и гнать его, роняя пенное мыло на глухую землю, до самого дома.

В пять часов побудка на уборку лошадей, чистка. За куценкие полчаса, пока выкармывали лошадей на коновязях овсом, перекидывались короткими фразами:

— Погано тут, ребята!

— Мдчи нету!

— А вахмистр, вот сука-то! Копыты коню промывать заставляет.

— Теперя дома блины трескают.. масленая..

— Девку бы зараз пощупал, эх!

— Я, братушки, ноне во сне видал, будто косим мы с батей сено в лугу, а миру кругом высыпало, как ромашки за гумнами,— говорил, сияя ласковыми телячьими глазами, смиренный Прохор Зыков,— косим мы это, трава так и полегает... Ажник дух во мне играет!..

— Жена теперича скажет: «Што-то мой Миколушка делает?»

— Ого-го-го! Она, брат, небось, со свекром в голопузика играет.

— Ну, уж ты...

— Да ни в жисть не стерпит любая баба, штоб без мужа на стороне не хлебнуть.

— Об чем вы горюете? Кубыть корчажка с молоком, приедем со службы и нам достанется.

На всю сотню весельчак и похабник, бессовестный и нагловатый Егорка Жарков встревал в разговор, подмигивая и грязно улыбаясь.

— Дело известное, твой батя снохе не спустит. Кобелина добрый. Так же вот было раз: — играл он глазами, оглядывая слушателей,— повадился один такой-то хрен к снохе, покою не дает, а муж мешается. Он ить что придумал? Ночью вышел на баз и растворил нарощно ворота, скотина вся и ходит по базу. Он и говорит сыну: «Ты, такой-сякой, чево ж так дверцы прикрывал? Гля, скотина вся вышла, поди загони!» Он-то думал, дескать, сын выйдет, а он тем часом к снохе прилабунится. А сын заленился: «Поди,—говорит жене,—загони». Энга и пошла. Вот он лежит, слушает, а отец сполз с пригрубка и на коленях к кровати гребется. Сын-то не будь дурак, скалу взял с лавки и ждет. Вот это отец подполз к кровати и только рукой лапнул, а сын ево скалом кы-ы-ык потянет через лысину: «Тппрусь,—шумит,—проклятый! Повадился дерюжку жевать!» А у них телок в куренях ночевал и все подойдет, да и жует одежду. Сын-то навроде, как на телка, а сам батяню резанул и лежит помалкивает... Старик-то дополз до пригрубка, лежит, шишку обминает, а она взыграла с гусиное яйцо. Вот лежал, лежал и говорит: «Иван, а Иван?» — «Чево, батя?» — «Ты ково ж это вдарил?» — «Да телка», — говорит. А старик ему со слезами: «Какой же, грить, из тебя, в гребени матери, хозяин будет, ежли ты так скотину бьешь?»

— А здоров ты брехать!

— На цепь тебя, рябова.

— Што за базар? Разойдись! — орал вахмистр подходя, и казаки расходились к лошадям, посмеиваясь и перебрасываясь шутками.

После чая выходили на строевые занятия. Урядники выколачивали домашнюю закваску.

— Пузо-то подбери, эй, ты, требуха свинья!

— Равнение на пра-во, ша-а-гом...

— Взвод, стой!

— Арш!

— Эй, левофланговый, как стоишь, мать твою?..

Господа офицеры стояли в стороне и, наблюдая, как гоняют по широкому задворью казаков, курили, иногда вмешивались в распоряжения урядников.

Глядя на вылощенных, подтянутых офицеров, в нарядных бледно-серых шинелях и красиво подогнанных мундирах, Григорий чувствовал между собой и ими неперелазную невидимую стену: там аккуратно пульсировала своя, не по-казацки нарядная, иная жизнь; без грязи, без вшей, без страха перед вахмистрами, частенько употреблявшими зубобой.

На Григория, да и на всех молодых казаков, тяжкое впечатление произвел случай, происшедший на третий день после приезда в имение. Учились в конном строю; лошадь Прохора Зыкова, парня с телячьеласковыми глазами, которому часто снились сны о далекой, манившей его станице, норовистая и взгальная при проезде лягнула вахмистрского коня. Удар был не силен и слегка лишь просек кожу на стегне левой ноги. Вахмистр наотмашь хлестнул Прохора плетью по лицу, и, назежая на него конем, крикнул:

— Ты чево, в жилу твою мать, глядишь?.. Чево глядишь? Я тебе, с-с-укиному сыну! Ты у меня продневалишь суток трое!..

Сотенный командир, что-то приказывавший взводному офицеру, видел эту сценку и отвернулся, теребя темляк шашки, скучающе и длинно зевая. Прохор рукавом шинели вытер с вздувшейся щеки полосу проступившей крови, задрожал губами.

Выравнивая в строю лошадь, Григорий глядел на офицеров, но те разговаривали, словно ничего не случилось. Суток пять спустя, Григорий на водопое уронил в колодезь цыбарку, вахмистр налетел на него скопцом, занес руку.

— Не трожь!.. — глухо кинул Григорий, глядя в рябившую под срубом воду.

— Што? Лезь, гад, вынимай! Морду искровяню!..

— Выну, а ты не трожь! — не поднимая головы медленно растягивал слова Григорий.

Если б у колодезя были казаки — по-иному обошлось бы дело, вахмистр несомненно избил бы Григория, но коноводы были у огорожи и не могли слышать разговора. Вахмистр, подступая к Григорию, оглядывался на них, хрипел, выкатывая хищные, обесмысленные гневом глаза.

— Ты мне што? Ты как гутаришь с начальством?

— Ты, Семен Егоров, не насыпайся!

— Гробишь?.. Ды я тебя в мокрое!..

— Вот што,— Григорий оторвал от сруба голову,— ежели ты когда вдарить меня— все одно убью! Понял?

Вахмистр изумленно зевал квадратным сазанным ртом и не находил ответа. Момент для расправы был упущен. Посеревшее, известкового цвета лицо Григория не сулило ничего доброго, и вахмистр растерялся. Он пошел от колодезя, оскользаясь по грязи, взмешенной над желобом, по которому сливали воду в долбленные корыта, и, уже отойдя, сказал, обернувшись, размахивая кулаком, как кувалдой:

— Сотенному доложу! Вот я сотенному отрапортую! — Но сотенному почему-то так и не сказал, а на Григория недели две гнал гонку, придирался к каждой пустяковине, вне очереди посылал на караулы и избегал встречаться глазами.

Нудный однообразный распорядок дня выматывал живое. До вечера, пока трубач не проиграет зорю, мотались на занятиях в пешем и конном строю, убирали, чистили и выкармливали на коновязях лошадей, зубрили бестолковщину словесности и лишь в 10 часов, после проверки и назначения на караулы, становились на молитву, и вахмистр круглыми оловяшками глаз обводя построенную шеренгу заводил от роду сиповатым голосом «отче наш».

С утра начиналась та же волынка, и шли дни разные и в то же время похожие, как близнецы.

На все имение, кроме старой жены управляющего, была одна женщина, на которую засматривалась вся сотня, не исключая и офицеров,— молоденькая, смазливая горничная управляющего — полька Франя. Она часто бегала из дома в кухню, где властвовал старый безбровый повар.

Сотня, разбитая на марширующие взводы, со вздохами и подмигиванием следила за шелестом серой франиной юбки. Чувствуя на себе постоянные взгляды казаков и офицеров, она словно обмаслилась в потоках похоти, излучаемых тремястами глаз, и, вызываяще подрагивая бедрами, рысила из дома в кухню, из кухни в дом, улыбаясь взводам поочередно, господам офицерам в отдельности. Ее внимания добивались все, но по слухам преуспевал лишь сотник, курчавый и густо волосатый с ног до головы. Уже перед весной случилось это. В этот день Григорий дневал на конюшне. Он чаще бывал в одном конце конюшни, где не ладили офицерские кони, попавшие в общество кобылы. Был обеденный перерыв. Григорий только что отходил плетью белоногого есаульского коня и, отойдя, заглянул в станок к своему гнедому. Конь мокро хрустел сеном, косил на хозяина розовый глаз, поджимая заднюю, ушибленную на рубке ногу. Поправляя на нем недоуздок, Григорий услышал топот и приглушенный крик в темном углу конюшни. Он пошел над станками, слегка изумленный необычным шумом. Глаза

ему залепила вязкая темнота, неожиданно хлынувшая в проход. Хлопнула дверь конюшни, и чей-то сдержанный голос шопотом крикнул:

— Скорей, ребята!

Григорий прибавил шагу.

— Кто такой?

На него наткнулся ощупью пробиравшийся к дверям урядник Попов.

— Ты, Григорий? — шепнул он, лапая плечи Григория.

— Погоди. Што тут такое?..

Урядник подребезжал виноватым смешком, схватил Григория за рукав

— Тут.. Пстой, куда ты?

Григорий, вырвав руку, распахнул дверь. На обезлюдевшем дворе ходила пестрая с подрезанным хвостом курица и, не зная того, что на завтра помышляет повар приготовить из нее суп пан-управляющему, подходя копала навоз и клохтала в раздумьи, где бы положить подпиравшее к выходу яйцо.

Свет, плеснувший Григорию в глаза, на секунду ослепил его, он заслонил глаза ладонью и повернулся, заслышав усилившийся шум в темном углу конюшни. Касаясь рукой стенки, пошел туда; на станке и на яслях против дверей выплясывал солнечный зайчик. Григорий шел, жмурясь от света, обжегшего зрачки, ему навстречу попался Жарков-балагур. Он шел, на ходу застегивая ширинку спадавших шаровар, мотая головой.

— Ты чево?.. Што вы тут?..

— Иди скорей,— шепнул Жарков, дыша в лицо Григория своим запахом грязного рта,— там... там, чудо! . Франю там зягнули ребята... расстелили... — Жарков хахакнул и, обрезав смех, глухо стукнулся спиной о рубленую стену конюшни, откинутый Григорием. Григорий бежал на шум возни, в расширенных освоившихся с темнотой глазах его белел страх. В углу, там, где лежали попоны, густо толпились казаки — весь первый взвод. Григорий, молча раскидывая казаков, протискался вперед. На полу, бессовестно и страшно раскидав белевшие в темноте ноги, не шевелясь, лежала Франя с головой укутанная попонами, в юбке разорванной и сбитой выше груди... С нее только что встал, придерживая шаровары, казак, и, не глядя на товарищей, криво улыбаясь, отошел к стене, уступая место очередному. Григорий рванулся назад и побежал к дверям.

— Ва-а-ахмистр!..

Его догнали у самых дверей, валяя назад, зажали ладонью рот. Григорий от ворота до края разорвал на одном гимнастерку, успел ударить другого ногой в живот, но его подмяли, так же как Фране, замотали голову попоной, связали руки и молча, чтоб не угадал по

голосу, понесли и кинули в порожние ясли. Давясь вонючей шерстью попоны, Григорий пробовал кричать, бил ногами в перегородку; он слышал перешепоты там, в углу, скрип дверей, пропускавших входивших и уходивших казаков. Минут через двадцать его развязали. На выходе стоял вахмистр и двое казаков из другого взвода

— Ты помалкивай! — сказал вахмистр, часто мигая и глядя в бок.

— Дуру не трепи, а то... уши отрежем, — улыбнулся Дубок — казак чужого взвода.

Григорий видел, как двое подняли серый сверток — Франю (у нее, выпираясь под юбкой, острыми углами недвижно висели ноги) и, взобравшись на ясли, кинули в пролом стены, где отдиралась плохо прибитая пластина. Стена выходила в сад. Над каждым станком коптилось вверх грязное, крохотное окошко. Казаки застучали, взбираясь на перегородки, чтобы посмотреть, что будет делать упавшая у пролома Франя; некоторые спеша выходили из конюшни. Звериное любопытство голкнуло и Григория. Уцепившись за перекладину, он подтянулся на руках к окошку и, найдя ногами опору, заглянул вниз. Десятки глаз глядели из прокопченных окошек на лежавшую под стеной. Она лежала на спине, ножницами сводя и разводя ноги, скребла пальцами талый у стены снежок. Лица ее Григорий не видел, но слышал затаенный сап казаков, торчавших у окошек, и хруст приятный и мягкий сена.

Она лежала долго, потом встала на четвереньки, у нее дрожали, подламываясь, руки, Григорий ясно видел это. Качаясь, поднялась на ноги и, растрепанная, чужая и незнакомая, обвела окошки долгим, долгим взглядом.

И пошла, цепляясь одной рукой за кустики жимолости, другой — опираясь и отталкиваясь от стены...

Григорий прыгнул с перегородки, растирая ладонью горло, — он задышался. У дверей ему кто-то, он даже не помнил кто, деловито и ясно сказал:

— Звякнешь кому — истинный христос, уьем! Ну?

На занятиях взводный офицер, увидев оторванную пуговицу на шинели Григория, спросил:

— Кто тебя тягал? Это еще что за мода?

Григорий глянул на кружок, вдавленный в сукне оторванной пуговицей, пронизанный воспоминанием, в первый раз за длинный отрезок времени чуть-чуть не взвыл плачем.

III

Над степью желтый солнечный зной. Желтой пылью дымятся нескошенные, вызревшие заливы пшеницы. К частям косилки не при-

тронуться рукой. Вверх не поднять головы — иссиня-желтая наволока неба накалена жаром. Там, где кончается пшеница—шафранная цветень донника. Хутор скочевал в степь. Косили жито. Рвали в косилках лошадиные силы, задыхались в духоте, в пряной пыли, в хрипе; в жаре... Ветер, наплывавший от Дона редкими волнами, подбирал поля пыли. Марью, как чадрой, кутало колючее солнце.

Петро, метавший с косилки, выпил с утра половину двухведерной баклаги. Пил теплую, противную воду, и через минуту ссыхалось во рту, мокли рубаха и портки, текло с лица, шкварился в ушах трельчатый звон, орепьем застревало в горле слово. Дарья, укутав платком лицо, расстегнув прореху рубашки, копнила. В ложбинке, между побуревших грудей, копился серый зернистый пот. Лошадей, запряженных в косилку, гоняла Наталья. У нее свекловицей рдели опаленные щеки, слезились глаза. Пантелей Прокофьевич ходил по рядам, как искупанный. Мокрая, непросыхающая рубаха жгла тело. Казалось, что не борода стекает у него с лица на грудь, а черная растаявшая колесная мазь.

— Взмылился, Прокофьич? — крикнул с воза, проезжая мимо, Христоня.

— Мокро! — махнул Прокофьевич рукой и похромал, растирая подолом рубахи скопившуюся на животе влагу.

— Петро, — крикнула Дарья, — ох, кончай!

— Погоди, загон проедем.

— Перегодим жару. Я брошу!

Наталья остановила лошадей задыхаясь, будто она тянула косилку, а не лошади. К ним шла Дарья, медленно переставляя по жнивью черные, потертые чириками ноги.

— Петюшка, тут ить пруд недалеко.

— Ну, уж недалеко, версты три!

— Искупаться бы.

— Пожель дойдешь оттель, — вздохнула Наталья.

— И чорти чево иттить. Коней выпрягем и верхи. — Петро опасно поглядел на отца, вершившего копну, махнул рукой.

— Выпрягайте, бабы!

Дарья оцепила постромки и лихо вскочила на кобылу. Наталья, ежа в улыбке растрескавшиеся губы, подвела коня к косишке, прималцовалась сесть с косилочного стула.

— Давай ногу, — услужил Петро, подсаживая ее. Поехали. Дарья с оголенными коленями и сбитым на затылок платком, поскакала вперед. Она по-казацки сидела на лошади, и Петро не утерпел, чтоб не крикнуть ей вслед

— Эй, гляди, потрешь!

— Небось! — отмахнулась Дарья.

Пересекая летник, Петро глянул влево, — далеко по серой спине шляха, от хутора, быстро двигался меняющий очертания пыльный комок.

— Верхи какой-то бегеть, -- сощурился он.

— Шибко. Ты гля, как пылить! — удивилась Наталья.

— Што б такое? Дашка! — крикнул Петро, рысый вперед жены, — погоди, вон коннова поглядим.

Комочек упал в лощину и выбрался оттуда, увеличенный до размеров муравья.

Сквозь пыль просвечивала фигура верхового. Минут через пять стало видно отчетливей. Петро всматривался, положив на поля соломенной рабочей шляпы грязную ладонь.

— Так недолго и лошадь запалить, наметом идет.

Петро, нахмурившись, снял с полей шляпы руку, некое смятение коснулось его лица и застыло на развилке приподнятых бровей.

Теперь уже ясно виден был верховой. Он шел броским наметом, левой рукой придерживал фуражку, в правой вяло вился запыленный красный флажок.

Он проскакал мимо с'ехавшего со шляха Петра так близко, что слышен был гулкий хрип коня, выдохавшего в легкие раскаленный воздух, крикнул, оскалив квадратный серо-каменный рот:

— Сполох!

На след, оставленный в пыли подковой его коня, упал кусок желтоватого пенного мыла. Петро проводил глазами конного. Одно осталось у него в памяти: тяжкий хрип полузагнанного коня и, когда глянул вслед ему, круп, мокрый, неуловимо сверкающий стальным лезвием.

Не осознав еще окончательно подступавшего несчастья, Петро тупо оглядел трепещущий в пыли кусок мыла, степь, сползавшую к хутору волнистым скатом. Со всех концов, по желтым, скошенным кулигам хлеба, скакали к хутору казаки. По степи, до самого желтеющего в дымчатой непрогляди бугра, вздували комочки пыли всадники, а там, где выбравшись на шлях скакали они толпою, тянулся к хутору серый хвостиче пыли.

Казаки, числившиеся на военной службе, бросали работу, выпрягали из косилок лошадей, мчались в хутор. Петро видел, как Христоня выпряг из арбы своего гвардейца-коня и ударился наметом, раскорячивая длинные ноги, оглядываясь на Петра.

— Чево ж это? — охнула Наталья, испуганно пялясь на Петра. Взгляд ее, взгляд зайца под прицелом, вструхнул Петра. Он подска-

кал к стану, прыгнув на ходу с лошади, натялил скинутые в разгаре работы шаровары и, махнув отцу рукой, растаял в таком же облачке пыли, как и те, что серыми, текучими веснушками расцветили истлевавшую в зное степь.

IV

На площади серая густела толпа. В рядах лошади, казачья справа, мундиры с разными номерами погон. На голову выше армейцев-казачков,— как гуси голландские среди мелкорослой домашней птицы, — похаживали в голубых фуражках атаманцы.

Кабак закрыт. Военный пристав хмур и озабочен. Над плетнями по улицам празднично одетые бабы. Одно слово в разноликой толпе: «мобилизация». Пьяные, разгоряченные лица. Тревога передается лошадям, визг и драка, гневное ржание. Над площадью низко повисшая пыль, по площади порожние бутылки казенки, бумажки дешевых конфет.

Петро в поводу вел заседланного коня. Около ограды. здоровенный черный атаманец, застегивая необъятные синие шаровары, щерит рот в белозубой улыбке, возле него серенькой перепелкой чечокает низкорослая казачка, — жена ли, любушка ли.

— Я тебе за эту курву чертей всыплю! — обещает казачка.

Она пьяна, в распатлаченных космах подсолнуховая лузга, развязаны концы расписного полушалка. Атаманец, затягивая пояс, приседает, улыбается; под морщенным морем шаровар годовалый телок пройдет — не зацепится.

— Не наскакивай, Машка.

— Кобель проклятый! Бабник!

— Ну, дык, што ж?

— Гляделки твои бесстыжие!

А рядом вахмистр, в рыжей оправе бороды, спорит с батарейцем.

— Ничево не будет! Постоим сутки и восвосяи

— А ну, как война?

— Тю, мил друг! Супротив нас какая держава на ногах устоит?

Рядом, в кураготе, бессвязный, скачущий разговор; немолодой красивый казак горячится.

— Нам до них дела нету Они пуцай воюют, а у нас хлеба не убратые!

— Это бяда-а-а! Гля, миру согнали, а ить ноне день—год кормит.

— Потравят копны скотиной.

— У нас уж ячень зачали косить.

— Астрицкого царя, стал-быть, стукнули?

— Наследника

- Станишник, какова полка?
- Эй, односум, забогател, мать твою, чорт!
- Га, Стешка, ты откель?
- Атаман гутарил, дескать, на всякий случай согнали.
- Ну, казацтво, дяржися!
- Ишо б годок погодить им, вышел бы я из третьей очереди.
- А ты, дед, зачем? Аль не отломал службу?
- Как зачнуть народ крошить, и до дедов доберутся.
- Монопольку закрыли, гребн их разгребн!
- Эх, ты, свистюля! У Марфутки хучь боченок можно купить

Комиссия начала осмотр. В правление трое казаков провели пьяного окровавленного казака. Откидываясь назад он рвал на себе рубаху, и, закатывая калмыцкие глаза, хрипел:

— Я их, мужиков, так их, перетак в к-р-р-ровь! Знай донскова казака!

Кругом сторонясь одобрительно посмеивались, сочувствовали.

— Крой их!

— За што ево сбатовали?

— Мужика какова-то изватлал.

— Их следовает!

— Мы им ишо врежем!

— Я, браток, в 905-м годе на усмирении был. То-то смеху!

— Война будет, — нас опять на усмиренья будут гонять.

— Будя! Пушай вольных нанимают. Полиция пушай, а нам кубыть и совестно.

На прилавке моховского магазина — давка, толкотня. К хозяевам пристал подвыпивший Томилин Иван. Его увещевал, разводя руками, сам Сергей Платонович, компаньон его Виктор Константинович Цаца пятился к дверям.

— Ну, цто это такое... Цестное слово, это бесцинство! Мальчик, сбегай к атаману!

Томилин, вытирая о шаровары потные ладони, грудью пер на нахмуренного Сергея Платоновича.

— Прижал с векселем, гад, а теперь робеешь? То-то! И морду побью, ищи с меня! Заграбил наши казацкие права. Эх, ты, сучье вымя! Гад!

Хуторской атаман лил масло радостных слов толпившимся вокруг него казакам:

— Война? Нет, не будет. Их благородие военный пристав гово-рили, што это для наглядности. Могете быть спокойными.

— Добришишша! Как возвернусь домой — зараз же на поля

— Ды ить дело стоит!..

— Скажи на милость, што начальство думает? У меня ить боле ста десятин посеву.

— Тимошка! Перкажи нашим, мол, завтра вернемся

— Никак афишку читают? Айда туда.

Площадь гомонила до поздна.

Через четыре дня красные составы увозили казаков с полками и батареями к русско-австрийской границе.

Война.

В приклетях у кормушек конский сап и смачный запах навоза. В вагонах те же разговоры, песни, чаще всего:

Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв монарха он.

На станциях любопытствующе-благоговейные взгляды, щупающие казачьи лампасы на шароварах, лица, еще не смывшие рабочий густой загар.

Война.

Газеты, захлебывающиеся воем.

На станциях казачьим эшелонам женщины махали платочками, улыбались, бросали папиросы и сладости. Лишь не доезжая Воронежа, в вагон, где парился с остальными тридцатью казаками Петро Мелехов, заглянул пьяненький старичок-железнодорожник, спросил, повода тоненьким носиком:

— Едете?

— Садись с нами, дед, — за всех ответил один.

— Милая ты моя... говядинка! — И долго укоризненно качал головой.

V

В последних числах июня полк выступил на маневры. По распоряжению штаба дивизии полк походным порядком прошел до города Ровно, — в окрестностях его разворачивались две пехотные дивизии и части конной Четвертая сотня стала постоем в деревне Владиславке. Недели через две, когда сотня, измученная длительным маневрированием, расположилась в местечке Заборонь, из штаба полка прискакал сотенный командир под'есаул Полковников. Григорий с казаками своего взвода отлеживался в палатке. Он видел, как по узкому руслу улицы на взмыленном коне проскакал под'есаул

Во дворе зашевелились казаки.

— Либо опять выступать? — высказал предположение Прохор Зыков и выжидающе прислушался.

Взводный урядник воткнул в подкладку фуражки иглу (он зашивал прохудившиеся шаровары):

— Не иначе, выступать.

-- Не дадут отдохнуть, черти!

— Вахмистр гутарил, што бригадный командир наедет.

«Та-та-та. Три-три-та-ти-та!..» — кинул трубач тревогу.

Казаки повскакивали.

— Куда кисет запропастился! — заметался Прохор.

— Се-е-едлать!

— Пропади он, твой кисет! — на бегу крикнул Григорий.

Во двор вбежал вахмистр. Придерживая рукой шашку, протрусил к коновязи. Лошадей оседлали в положенный по уставу срок. Григорий рвал приколы палатки, ему успел шепнуть урядник.

— Война, парень!

— Бреешь?

— И, вот тебе бог, вахмистр соопчил!

Сорвали палатки. На улице строилась сотня.

Командир сотни на разгоряченном коне вертелся перед строем.

— Взводными колоннами... — повис над рядами его зычный голос.

Зацокали копытами лошадей. Сотня на рысях вышла из местечка на тракт. От деревни Кустень переменным аллюром шли к полустанку первая и пятая сотни

День спустя полк выгрузился на станции Вербы в тридцати пяти верстах от границы. За станционными березками занималась заря. Погожее обещалось быть утро. На путях погромыхивал паровоз. Блестели отлакированные росой рельсы. По подмостям, храпя, сходили из вагонов лошади. За водокачкой переключка голосов, басовитая команда.

Казаки четвертой сотни в поводу выводили лошадей за переезд. В сиреновой рыхлой темноте вязкие плавали голоса. Мутно синели лица, контуры лошадей рассасывались в невиди.

— Какая сотня?

— А ты чей такой прибулдился?

— Я тебе дам, подлец! Как с офицером раз-го-ва-риваешь?

— Виноват, ваше благородие!.. Обознался.

— Проезжай, проезжай!

— Чего разлопушился-то? Паровоз вон идет, двигай!

-- Вахмистр, где у тебя третий взвод?

— Со-о-отня-а-а, подтянись!

А в колонне тихо, вполголоса:

— Подтянись, едрена Матрена, две ночи не спамши.

— Семка, дай потянуть, с вечера не курил.

— Жеребца потяни..

— Чумбур перегрыз, дьяволюка.

— А мой на передок расковался..

Четвертой сотне перегородила дорогу свернувшая в сторону другая сотня.

В синеватой белеси неба четко вырезались, как нарисованные тушью, силуэты всадников. Шли по четыре в ряд. Колыхались пики, похожие на оголенные подсолнечные будылья Изредка звякнет стремя, скрипнет седло.

— Эй, братушки, вы куда ж эту?

— К куме на крестины.

— Га-га-га-га!..

— Молчать! Что за разговоры?

Прохор Зыков, обнимая ладонью окованную туку седла, всматривался в лицо Григория, говорил шепотом:

— Ты, Мелехов, не робеешь?

— А чево робеть-то?

— Как же... Ныне, может, в бой пойдем.

— И пушай.

— А я вот робею, — сознался Прохор и нервно перебирал пальцами скользкие от росы поводья, — всю ночь в вагоне не спал. Нету сну, хучь убей.

Голова сотни качнулась и поползла, движение передалось третьему взводу, мерно пошли лошади, колыхнулись и поплыли притороченные к ногам пики.

Пустив повода Григорий дремал. Ему казалось не конь упруго переступает передними ногами, покачивая его в седле, а он сам идет куда-то по теплой черной дороге и итти необычно легко, подмывающее радостно.

Прохор что-то говорил под ухом, голос его мешался с хрустом седла, копытным стуком, не нарушая обволакивающей бездумной дремы

Шли по проселку. Баюкающая звенела в ушах тишина Над дорогой дымились в росе вызревшие овсы Конни тянулись к низким колосьям, вырывая из рук казаков поводья. Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки глаз, он поднимал голову и слышал все тот же однообразный, как скрип арбы, голос Прохора.

Пробудил его внезапно приплывший из-за далекого овсяного поля густой, перекастистый гул.

— Стреляют! — почти крикнул Прохор.

Страх налил мутью его телячьи глаза. Григорий поднял голову: перед ним двигалась в такт с конской спиной серая шинель взводного урядника, сбоку млело поле с нескошенными делянами жита, с жаворонком, плясавшим на уровне телеграфного столба. Сотня оживилась, густой орудийный стон прошел по ней электрическим током. Под'есаул Полковников, подхлестнутый стрельбой, повел сотню рысью. За узлом проселочных дорог, сходящихся у брошенной корчмы, стали попадаться подводы беженцев. Мимо сотни промчался эскадрон нарядных драгун. Ротмистр с русыми баками, на рыжем кровном коне, иронически оглядел казаков и дал коню шпоры. В ложбинке болотистой и топкой застряла гаубичная батарея. Ездовые мордовали лошадей, около суетилась прислуга. Рослый рябой батареец нес от корчмы охапку досок, оторванных, наверное, от забора.

Сотня обогнала пехотный полк. Солдаты со скатанными шинелями шли быстро, солнце' отсвечивало в их начищенных котелках и стекало с жал штыков. Ефрейтор последней роты, маленький, но бедовый, кинул в Григория комком грязи.

— Лови, в австрийцев кинешь!

— Не дури, кобылка! — на лету рассек Григорий плетью комок грязи.

— Казачки, везите им от нас поклоны!

— Сами свидитесь!

В головной колонне наяривали похабную песню, и толстозадый, похожий на бабу, солдат шел сбочь колонны задом, щелкая ладонями по куцым голенищам. Офицеры посмеивались. Острый душок недалеко опасности сближал их с солдатами, делал снисходительней.

От корчмы до деревни Горовищук гусеницами ползли пехотные части, обозы, батареи, лазареты. Чувствовалось смертное дыханье близких боев.

Не доходя деревни Берестечко четвертую сотню обогнал командир полка Каледин. С ним рядом ехал войсковой старшина. Григорий, провожая глазами статную фигуру полковника, слышал, как войсковой старшина, волнуясь, говорил ему:

— На трехверстке, Василий Максимович, не обозначена эта деревушка. Мы можем попасть в неловкое положение.

Ответа полковника Григорий не слышал. Догоняя их проскакал адъютант. Конь его улегал на левую заднюю. Григорий машинально определил добротность адъютантского коня.

Вдали, под покатым склоном поля, показались холупы деревушки. Полк шел переменным аллюром, и лошади заметно припотели. Григорий ладонью щупал потемневшую шею своего гнедого, поглядывал по сторонам. За деревушкой, зелеными острями вонзаясь в синеющий купол неба, виднелись вершины леса. За лесом пух орудийный гул, теперь он потрясал слух всадников, заставляя настораживаться лошадей, в промежутки частили ружейные залпы. Далекие таяли за лесом дымки шрапнельных разрывов, ружейные залпы отплывали куда-то правее леса, замирая и усиливаясь.

Григорий остро воспринимал каждый звук, на колки чувств туго навивчивались нервы. Прохор Зыков ерзал в седле, болтая неумолчно.

— Григорий, стреляют, — похоже, как ребята палкой по частоколу. Верно ить.

— Молчи ты, балабон!

Сотня подтянулась к деревушке. В дворах кишат солдаты, в хатах — суетня: хозяева собираются выезжать. Всюду на лицах жителей лежала печать смятения и растерянности. В одном дворе Григорий проезжая видел: солдаты развели огонь под крышей сарая, а хозяин, — высокий седой белорусс, — раздавленный гнетом внезапного несчастья, ходил мимо, не обращая внимания. Григорий видел, как семья его бросала на телегу подушки в красных наволочках, разную рухлядь, а хозяин заботливо нес сломанный обод колеса, никому ненужный, пролежавший на погребнице, быть может, десяток лет.

Григорий дивился бестолковости баб, тащивших в телеги цветочные горшки, иконы и оставлявших в хатах вещи необходимые и ценные. По улице метелицей стлался выпущенный кем-то из перины пух. Во нялю пригорелой сажей и погребным, затхлым душком. На выезде попался им бежавший навстречу еврей. Тонкая, словно разрезанная шашкой щель его рта раззявлена криком:

— Господин козак! Господин козак. Ах, бож-ж-же-ж мой!

Маленький круглоголовый казак ехал рыском, помахивая плетью, не обращая на крик внимания.

— Стой! — крикнул казаку под'есаул из второй сотни.

Казак пригнулся к луке и нырнул в проулок.

— Стой, мерзавец! Какого полка?

Круглая голова казака припала к конской шее. Он, как на скачках, повел коня бешеным наметом, у высокого забора поднял его на дыбы и ловко перемахнул на ту сторону.

— Тут девятый полк, ваше благородие. Не иначе с ихнева полка, — рапортовал под'есаулу вахмистр.

— Чорт с ним! — поморщился под'есаул и обращаясь к еврею, припавшему к стремя: — Что он у тебя взял?

— Господин офицер... Часы, господин офицер!.. — еврей поворачивал к под'ехавшим офицерам красивое рыжеватое лицо, часто моргал глазами.

Есаул, отводя ногой стремя, тронулся вперед.

-- Немцы придут, все равно заберут, — улыбаясь в усы, от'езжая, проговорил он.

Еврей растерянно стоял посреди улицы. По лицу его блудила судорога.

— Дорогу, пане-жидове! — строго крикнул командир сотни и замахнулся плетью. Четвертая сотня прошла мимо него в дробной стукотени копыт, в скрипе седел. Казаки насмешливо косились на растерянного еврея, переговариваясь.

— Наш брат жив не будет, штоб не слямзить.

— К казаку всяка вещь прилипает.

— Пущай плохо не кладет.

— А ловкач энтот..

— Ишь, махнул через забор, как борзой кобель!

Вахмистр Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пику.

— Беги, жидюга, заколю!

Еврей испуганно зевнул ртом и побежал. Вахмистр догнал его, сзади рубанул плетью. Григорий видел, как еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся лицом к вахмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь.

— За что?.. — рыдающим голосом крикнул он.

Вахмистр, масля в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршунячы глаза, ответил от'езжая.

— Не ходи босой, дурак!

За деревней, в лощине, поросшей желтыми кувшинками и осокой, саперы доканчивали просторный мосток. Неподалеку стоял, гудя и сотрясаясь, автомобиль. Около него суетился шофер В сиденье, откинувшись, полулежал толстый, седой генерал, с бородкой-эспаньолкой, и вислыми сумками щек. Возле, держа под козырек, стоял командир 12-го полка полковник Каледин и командир саперного батальона Генерал, турсуча рукой ремень полевой сумки, гневно выкрикивал, адресуясь к саперному офицеру

— Вам приказано еще вчера закончить работу. Молчать! О подвозе строительного материала вы должны были озаботиться раньше.

Молчать! — гремел генерал, несмотря на то, что офицер, замкнув рот, только дрожал губами.

— А теперь как мне проехать на ту сторону?.. Я вас спрашиваю, капитан, ка-а-ак мне проехать?..

Сидевший по левую сторону от генерала молодой черноусый генерал жег спички, закуривая сигару, улыбаясь. Саперный капитан, изгинаясь, что-то указывал в сторону моста. Сотня прошла мимо, спустилась над мостом в лощину. Буро-черная грязь выше колен забирала ноги лошадей, сверху с моста сыпались на казаков белые перья сосновых щепок.

В полдень проехали границу. Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб. Орудийный гул погромыхивал справа. Вдали краснели черепичные крыши фольварка. Солнце разило землю отвесно падающими лучами. Оседала горькая, тучная пыль. Командир полка отдал приказ выслать головной дозор. Из четвертой сотни выехал третий взвод с взводным офицером, сотником Семеновым. Назад в сером мареве пыли остался расчлененный на сотни полк. Отряд в двадцать с лишним казаков поскакал, минуя фольварк, по изморщенной зачерствелыми колеями дороге.

Сотник отвел раз'езд версты на три и остановился, сверяясь с картой. Казаки с'ехали кучей покурить. Григорий слез-было ослабить подпруги, но вахмистр блеснул на него глазами:

— Я тебе чертей всыплю! На конь!

Сотник закурил, долго протирал вынутый из чехла бинокль. Перед ними тронутая полуденным зноем лежала равнина. Вправо зубчатилась каемка леса, в нее вонзалось отточенное к тому концу жало дороги. Версты в полторы от них виднелась деревушка, над ней изрезанный гнилистый крутояр речки и стеклянная прохлада воды. Сотник долго смотрел в бинокль, щупал глазами омертвевшие в безлюдьи улицы, но там было пусто, как на кладбище. Манила зазывно голубевшая стежка воды.

— Надо полагать, Королевка? — указал сотник на деревушку глазами.

Вахмистр под'ехал к нему молча. Выражение его лица без слов говорило: «Вам лучше знать. Наше дело маленькое».

— Проедем туда, — нерешительно сказал сотник, пряча бинокль и морщась, как от зубной боли.

— Не напоремся на них, ваше благородие?

— Мы осторожно. Ну, трогаем.

Проخور Зыков — поближе к Григорию. Лошади их шли рядом. В опустелую улицу в'ехали с опаской. Каждое окно сулило рас-

праву, каждая распахнутая дверь сарая вызывала, при взгляде на нее, чувство дикого одиночества и противную дрожь вдоль спинного хребта. Магнитом притягивало взгляды к заборам и канавам. В'ехали хищниками, — так в голубую зимнюю ночь появляются около жилья волки, но улицы пустовали. Одурающая гудела тишина. Из раскрытого окна одного дома послышался наивный бой стенных часов, звук их лопнул выстрелами, и Григорий заметил, как сотник, ехавший передом, дрогнул, рукой судорожно лапнул кобуру револьвера.

В деревне не было ни одной души. Раз'езд вброд переехал речушку; вода подходила лошадям по пузо, они охотно шли в воду и пили на ходу, взнузданные, понукаемые всадниками. Григорий жадно всматривался в взмученную воду; близкая и недоступная, она тянула к себе непреодолимо. Если можно было, он соскочил бы с седла, лег, не раздеваясь, под дремотный перешепот струй, так, чтоб холодом и ознобом ошиновало спину и мокрую от пота грудь.

За деревней с холма виден был город: квадраты кварталов, кирпичные здания, плесы садов, шпили костелов.

Сотник в'ехал на впалую вершину холма и приставил к глазам бинокль.

— Вон они! — крикнул, шевеля пальцами левой руки.

Вахмистр, за ним по одному казаки в'езжали на выжженную солнцем вершину, всматривались. По улицам, крохотные отсюда, сновали люди, прудили переулки обозы, мельтешились конные. Григорий, щура глаза, глядел из-под ладони, он различал даже серую, чуждую окраску мундиров. Над городом бурели свежее вырытые логова окопов, над ними кишели люди.

— Сколько их... — изумленно протянул Прохор

Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства. Григорий прислушивался к учащенному бою сердца (будто кто-то маленький, но тяжелый, там, в левой стороне груди, делал бег на месте) и сознавал, что владеет им совсем иное чувство, при взгляде на этих чужих людей, чем то, которое испытывал он на маневрах, видя «противника».

Сотник в полевой книжке делал какие-то отметки карандашом. Вахмистр согнал с холма казаков, спешил их и поднялся к сотнику. Он поманил Григория пальцем.

— Мелехов!

— Я.

Григорий взошел на холм, разминая затекшие ноги. Сотник подал ему сложенную вчетверо бумажку.

— У тебя лошадь добрей остальных. К командиру полка наметом!

Григорий спрятал в грудной карман бумагу, сошел к лошади, слуская на подбородок ремень фуражки.

Сотник глядел ему вслед, выжидая, пока Григорий сел на коня, и кинул взгляд на решетку ручных часов.

Полк подтягивался к Королевке, когда Григорий прискакал с до-несением. Полковник Каледин отдал распоряжение адъютанту, и тот залылил к первой сотне.

Четвертая сотня текла по Королевке и быстро, как на ученье, развернулась за околицей. От холма с казаками третьего взвода под-скакал сотник Семенов.

Сотня выравнивала подкову построения. Кони мотали головами, жалил слепень, позвякивали уздечки. В полуденной тиши немо гудел топот первой сотни, проходившей последние дворы деревни.

Под'есаул Полковников на переплясывающем статном коне вы-скакал перед строй, туго подбирая поводья продед руку в темляк. Григорий, задерживая дыхание, ждал команды. На левом фланге мягко грохотала первая сотня разворачиваясь, готовясь.

Под'есаул вырвал из ножен шашку, клинок блекло сверкнул голу-бизной.

Шашка накренилась вправо, влево и упала вперед, задержавшись в воздухе повыше сторчмя поднятых ушей коня...

«Рассыпаться лавой и вперед» — в уме перевел Григорий немую команду.

— Со-о-от-ня-а-а-а, пики к бою, шашки вон, в атаку марш-марш! — обрезал есаул команду и выпустил коня.

Глухо охнула земля, распытая под множеством копыт. Григорий едва успел опустить пику (он попал в первый ряд), как конь, захва-ченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес, забирая во-всю. Впереди рябил на сером фоне поля под'есаул Полковников. Не-удержимо летел навстречу черный клин пахоты. Первая сотня взывала трясучим, колеблющимся криком, крик перенесло к четвертой сотне. Лошади в комок сжимали ноги и пластались, кидая назад сани. Сквозь режущий свист в ушах Григорий услышал хлопки далеких еще выстрелов. Первая цвинькнула где-то высоко пуля. Тягучий свист их забороздил стеклянную хмарь неба. Григорий до боли прижимал к боку горячее древко пики; потела, словно смазанная слизистой жидкостью, ладонь. Свист перелетавших пуль заставляя его клонить голову к мокрой шее коня, в ноздри ему бил острый запах конского пота. Как сквозь запотевшие стекла бинокля, видел бурую пряду око-пов, серых людей, бежавших к городу. Пулемет без передышки стал

над головами казаков веером разбегающийся визг пуль; они рвали впереди и под ногами лошадей ватные хлопья пыли.

Там, в середине грудной клетки Григория, словно одубело то, что до атаки суетливо гоняло кровь, — он не чувствовал ничего, кроме звона в ушах и боли в пальцах левой ноги.

Выхолощенная страхом мысль путала в голове тяжелый, застывающий клубок.

Первый упал с коня хорунжий Ляховский. На него наскочил Прохор. Оглянувшись, Григорий запечатлел в памяти кусочек виденного: конь Прохора, прыгнув через распластанного на земле хорунжего, ощерил зубы и упал, подогнув шею. Прохор слетел с него выбитый из седла толчком. Резцом, как алмазом на стекле, вырезала память Григория и удержала надолго розовые десны прохорова коня с ощеренными плитами зубов, Прохора, упавшего плашмя, растоптанного копытами скакавшего сзади казака. Он не слышал крика, но понял по лицу Прохора, прижатому к земле с перекошенным ртом и вылезшими из орбит телячьими глазами, что, крикнул он нечеловечески дико. Падали еще. Казаки падали и кони. Сквозь пленку слез, надутых ветром, Григорий глядел перед собой на серую киповень бежавших от окопов австрийцев. Сотня, рванувшаяся от деревни стройной лавой, рассыпалась, дробясь и ломаясь. Передние, в том числе Григорий, подскакивали к окопам, остальные топотали где-то сзади.

Высочий белобровый австриец, с надвинутым на глаза кепи, хмурясь, почти в упор выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил Григорию щеку. Он повел пикой, натягивая изо всей силы поводья. Удар настолько был силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него. Григорий не успел, нанеся удар, выдернуть ее, и под тяжестью оседавшего тела ронял, чувствуя на ней трепет и судороги, видя как австриец, весь переломившись назад (виднелся лишь острый небритый клин подбородка), перебирает, царапает скрюченными пальцами древко. Разжав пальцы, Григорий в'елся занемевшей рукой в эфес шашки.

Австрийцы бежали в улицы предместья. Над серыми сгустками их мундиров дыбились казачьи кони.

В первую минуту, после того, как выронил пикку, Григорий, сам не зная для чего, повернул коня. Ему на глаза попался скакавший мимо него оскаленный вахмистр. Григорий шашкой плашмя ударил коня. Тот, заломив шею, понес вдоль улицы.

Над железной решеткой сада, качаясь, обеспамятев, бежал австриец, без винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок австрийца, мокрую у шеи строчку воротника. Он

догнал его. Распаленный безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал над решеткой, Григорию неловко было рубить его с левой руки, но он, перевесившись с седла, косо держа шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал, повернув ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца чугуною чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами. С виска его упавшая осклизь шашка стесала кожу, она висела над щекой красным лоскутом. На мундир кривым ручьем падала кровь.

Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с длинным потягом развалил череп на-двое. Австриец упал, топыря руки, словно поскользнувшись, глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной коробки. Конь прыгнул, всхрапнув понес Григория на середину улицы.

По улицам перестукивали редяющие выстрелы. Мимо Григория вспененная лошадь пронесла мертвого казака. Нога его застряла в стремени, и лошадь несла, мотая избитое оголенное тело по камням.

Григорий видел только красную струю лампаса да изорванную зеленую гимнастерку, сбившуюся комом выше головы.

Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо него скакали казаки подоспевшей третьей сотни. Пронесли на шинели раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным серым стадом, и безрадостно дико звучал стук их кованых ботинок. Лица их слились в глазах Григория в студенистое глиняного цвета пятно. Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, над игривой тесьмой решетчатой огорожи, вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаением. Григорий глянул ему в лицо. Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный, — страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, — покривленный суровый рот.

— Эй, ты! — крикнул проезжая посреди улицы незнакомый казачий офицер. Григорий глянул ему на белую забрызганную пылью кокарду и, спотыкаясь, пошел к коню. Путанно-тяжек был шаг его, ровно нес за плечами непосильную тяжесть. Гнусь и недоумение комкали душу. Он взял в руки зазубренное стремя и долго не мог поднять затяжелевшую ногу.

VI

Казачи второочередники с хутора Татарского и окрестных хуторов на второй день после выступления из дома ночевали на хуторе. Казачи с нижнего конца хутора держались от верховцев особняком. Поэтому Петро Мелехов, Авикушка, Христоня, Степан Астахов, Томилин Иван и остальные стали на одной квартире. Хозяин — высокий дряхлый дед, участник турецкой войны — завел с ними разговор. Казачи уже легли спать, расстелив в кухне и горнице полсти, курили остатний перед сном раз.

— На войну, стал-быть, служивые?

— На войну, дедушка.

— Должно, непохожая на турецкую выйдет бойна? Теперь ить вон какава орудия пошла.

— Однаково. Один чорт, как в турецкую народ переводили, так и в эту придется, — озлобясь неизвестно на кого буркнул Томилин.

— Ты, милоч, сепетишь-то без толку. Другая война будет.

— Оно, конечно, — лениво, с зевотцой, подтвердил Христоня, обнюгав гася цыгарку.

— Повоюем, — зевнул Петро Мелехов и, перекрестив рот, накрылся шинелью.

— Я вас, сынки, вот об чем прошу. Дуже прошу, и вы слово мое попомните, — заговорил дед.

Петро отвернул с головы полу шинели, прислушался.

— Помните одно: хочешь живым быть, из смертного бою целым выйтить — надо человеческую правду блюсть.

— Какую? — спросил Степан Астахов, лежавший с краю. Он улыбнулся недоверчиво. Он стал улыбаться с той поры, когда услышал про войну. Она его манила, и общее смятение, чужая боль утишала его собственную.

— А вот какову: чужова на войне не бери — раз. Женщин упаси бог трогать, и ишо молитву такую надо знать.

Казачи заворочались, заговорили все сразу.

— Тут хучь бы свое не уронить, а то чужое.

— А баб, как нельзи трогать? Дурником, — это я понимаю, — невозможно, а по доброму слову?

— Разя ж утерпишь?

— То-то и оно.

— А молитва, какава она?

Дед сурово насталил глаза, ответил всем сразу.

— Женщинов никак нельзя трогать. Вовсе никак! Не утерпишь — голову потеряешь, али рану получишь, посля спопашисься, да поздно.

Молитву скажу. Всю турецкую войну пробыл, смерть за плечью, как переметная сумма висела, и жив остался через эту молитву.

Он пошел в горницу, порылся под божницей и принес клеклый, побуревший от старости лист бумаги.

— Вот. Вставайте, попишите. Завтра, небось, до кочетов ить тронетесь?

Дед ладонью разгладил на столе хрушкий лист и отошел. Первым поднялся Аникушка. На голом бабьем лице его трепетали неровные тени от огня, колеблемого ветром, проникавшим в оконную щель. Сидели и списывали все, кроме Степана. Аникушка, списавший ранее остальных, скомкал вырванный из тетради листок, привязал его на гайтан, повыше креста. Степан, качая ногой, трунил над ним.

— Вшам приют устроил. В гайтане им неспособно водиться, так ты им бумажный курень приспособил. Во!

— Ты, молодец, не веруешь — так молчи, — строго перебил его дед. — Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся. Совестно так-то и грех!

Степан замолчал улыбаясь; сглаживая неловкость Аникушка спросил у деда:

— Там в молитве про рогатину есть и про стрелу. Это к чему?

— Молитва при набеге это ишо не в наши времена сложенная. Деду мому, покойнику, от ево деда досталась. А там, может, ишо раньше была она. В старину-то с рогатинами воевать шли да с сагайдаками.

Списывали молитвы на выбор, кому какая приглянулась.

«Молитва от ружья.

Господи, благослови! Лежит камень бел на горе, что конь. В камень нейдет вода, так бы и в меня, раба божия, и в товарищей моих и коня моего не шла стрела и пулька. Как молот отпрядывает от ковадла, так и от меня пулька отпрядывала бы; как жернова вертятся, так не приходила бы ко мне стрела, вертелась бы. Солнце и месяц светлы бывают, так и я, раб божий, ими укреплен. За горой замок, замкну тот замок, ключи в море брошу, под бел горюч камень Алтор, невиданный ни колдуну, ни колдунце, ни чернецу, ни чернице. Из океан-моря вода не бежит, и желтый песок не пересчитать, так и меня, раба божия, ничем не взять. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь!»

«Молитва от боя.

Есть море-океан, на том море-океане есть белый камень Алтор, на том камне Алторе есть муж каменный тридевять колен. Раба божьего и товарищей моих каменной одеждой одень от востока и

до запада, от земли и до небес; от вострой сабли и меча, от копья булатна и рогатины, от дротика каленого и некаленного, от ножа, топора и пушечного боя; от свинцовых пуль и от метких оружий; от всех стрел перенных пером орловым, и лебединым, и гусиным, и журавлиным, и дергуновым, и вороновым; от турецких боев, от крымских и австрийских, нагонского супостата, татарского и литовского, немецкого и шильнского, и калмыцкого. Святые отцы и небесные силы, соблюдайте меня, раба божьего! Аминь!»

«Молитва при набеге.

Пречистая владычица, святая богородица и господь наш Иисус Христос! Благослови, господи, набеги идучи раба божьего и товарищей моих, кои со мною есть. Облаком обволоки, небесным, святым, каменным. Твоим градом огради. Святой Дмитрий Сослужкий, ущити меня раба божьего и товарищей моих на все четыре стороны; лихим людям не стрелять, ни рогаткою колоть и не бердышом сечи, не колоти, не обухом прибити, не топором рубити, не саблями сечи, ни колоти; ни ножом не колоти и не резати; не старому и не малому, и не смуглому, и не черному: ни еретику, ни колдуну и ни всякому чародею. Все теперь предо мной, рабом божьим, посироченным и судимым. На море, на океане, на острове Буяне, стоит столб железный. На том столбе муж железный, подпершился посохом железным, и заколеват он железу, булату и синему олову, свинцу и всякому стрельцу: «Пойди, ты, железо, во свою мать-землю от раба божья и товарищей моих, и коня моего, мимо. Стрела дровоколкова в лес, а перо во свою мать-птицу, а клей в рыбу. Защити меня, раба божья, золотым щитом от сечи и от пули, от пушечного боя, ядер и рогатины и ножа. Будет тело мое крепче панцыря. Аминь!»

Увезли казаки под чательными рубахами списанные молитвы. Крепили их к гайтанам, к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родимой земли, но смерть пятнила и тех, кто возил с собою молитвы.

Трупами истлевали на полях Галиции и Восточной Пруссии, в Карпатах и Румынии, — всюду, где полыхали зарева войны и ложился копытный след казачьих коней.

VII

Обычно из верховых станиц Донецкого округа — Еланской, Вешенской, Мигулинской и Казанской — брали казаков в 11—12 армейские казачьи полки и в лейб-гвардии Атаманский.

В 1914 году часть призванных на действительную военную службу казаков Вешинской станицы влили почему-то в 3-й Донской

казакий, имени Ермака Тимофеевича полк, состоявший сплошь из казаков Усть-Медведицкого округа. В числе остальных попал в 3-й полк и Митька Коршунов.

Вместе с некоторыми частями 3-й кавалерийской дивизии, полк стоял в Вильню. В июне сотни выступили из города на лунки ¹⁾.

Теплился пасмурный летний день. Текучие облака табунились на небе, застили солнце. Полк шел походным порядком. Ревел оркестр. Господа офицеры, в летних защитных фуражках и легких кителях, ехали толпой. Над ними голубел папиросный дымок.

По сторонам от проселка мужики и нарядные бабы косили траву, смотрели из-под ладоней на колонны казаков.

Лошади заметно потели. В промежностях копилась желтоватая пена, и легкий ветерок, тянувший с юго-востока, не сушил пота, а еще больше усугублял парную духоту.

На полпути, неподалеку от какой-то дереvушки, к пятой сотне прибудился жеребенок-стригун. Он вылетел из-за околицы, увидел плотную массу лошадей и, игогокнув, поскакал наперерез. Хвост его, еще не утративший ребяческой пушистости, относило на сторону, из-под точеных раковинкоп копыт вспрядывала серыми пузырями пыль и оседала на притолченной зеленке. Он подскакал к головному взводу, дурашливо ткнулся в пах вахмистрову коню. Конь вскинул задок, но ударить не решился, — пожалел, видно.

— Брьсь, дурак! — замахнулся вахмистр плетью.

Казаки засмеялись, обрадованные домашним милым видом жеребенка. Тут случилось непредвиденное: жеребенок нахально протиснулся между взводными рядами, и взвод раскололся, утратил до этого стройную, компактную форму. Лошади, понукаемые казаками, топтались в нерешительности. Теснимый ими жеребенок шел боком и норовил укусить ближнего к нему коня.

— Это что тут такое? — подлетел командир сотни.

В том месте, где затесался несуразный стригун, бочились и всхрапывали кони. Казаки улыбались, хлестали его плетьюми, кишмя кишел расстроенный взвод, а сзади напирали остальные, и сбочь дороги скакал от хвоста сотни разъяренный взводный офицер.

— Что такое? — громыхнул командир сотни, направляя коня в средину гущины.

— Жеребенок, вот...

-- Влез промежь нас...

— Не выгонишь, дьяволенка...

— Да ты ево плетью! Чево жалеешь?

1) Лунки — выкормка лошадей на подножном корму.

Казакки виновато улыбались, натягивали поводья, удерживая разгоряченных лошадей.

— Вахмистр! Господин сотник, что это за чорт? Приведите свой взвод в порядок, этого еше не доставало!..

Командир сотни отскакал в сторону. Лошадь его оступилась и сорвалась задними ногами в придорожную канаву. Он дал ей шпоры и выскочил на ту сторону канавы, на вал, заросший лебедой и желтопенной ромашкой. Вдали остановилась группа офицеров. Войсковой старшина, запрокинув голову, тянул из фляжки, и рука его отчески ласково лежала на нарядной окованной луке.

Вахмистр разбил взвод, сквернословя выпгнал жеребенка за дорогу. Взвод сомкнулся. Полтора ста пар глаз глядели, как вахмистр, привстав на стремянах, рысил за жеребенком, а тот, то останавливался, прислоняясь грязным, от присохшей коры помета, боком к вахмистрскому трехвершкковому коню, то снова улепетывал, настобурчив хвост, и вахмистр никак не мог достать его плетью по спине, а все попадал по метелке хвоста. Хвост опускался, сбитый плетью, и через секунду опять его лихо относило ветром.

Смеялась вся сотня. Смеялись офицеры. Даже на угрюмом лице есаула появилось кривое подобие улыбки.

В третьем ряду головного взвода ехал Митька Коршунов с Ивановым Михаилом, казаком с хутора Каргина, Вешенской станицы, и усть-хоперцем, Козьмой Крючковым. Мордатый, широкий в плечах, Иванов молчал, Крючков, по прозвищу «верблюд», чуть рябоватый, сутулый казак, придирался к Митьке. Крючков был «старый» казак, т-е. дослуживавший последний год действительной, и по неписанным законам полка имел право, как и всякий «старый» казак, гонять молодых, вымуштровывать, за всякую пустяковину ввалить пряжек. Было установлено так: провинившемуся казаку призыва 13-го года — 13 пряжек; 14-го года — 14. Вахмистра и офицеры поощряли такой порядок, считая, что этим внедряется в казака понятие о почитании старших не только по чину, но и по возрасту.

Крючков, недавно получивший нашивку приказного, сидел в седле сутулясь, по-птичьи горбатя вислые плечи. Он шурился на серое грудастое облако, спрашивал у Митьки, подражая голосом ломовитому командиру сотни — есаулу Попову:

— Скъжи мне, Кършунов, кэк звэть нэшего кэмэндира сэтни?

Митька, не раз пробовавший пряжек за свою строптивость и непокорный характер, натянул на лицо почтительное выражение.

— Есаул Попов, господин старый казак.

— Кэк?

— Есаул Попов, господин старый казак.

— Я не прэ это прэшиваю. Ты мне скэжи, кэк его кличут прэмеж нэс кэээков?

Иванков опасно подмигнул Митьке, вывернул в улыбке трегубый рот. Митька оглянулся и увидел под'езжавшего сзади есаула Попова.

— Ну? Этвечай, — шурился Крючков.

— Есаул Попов звать их, господин старый казак.

— Четырнэдцать пряжек. Гэвэри, гад!

— Не знаю, господин старый казак.

— А вот приедем на лунки, — заговорил Крючков подлинным голосом, — я тебе всыплю, гребут твою мать! Отвечай, когда спрашивают!

— Не знаю.

— Што ж, сволочуга, не знаешь, как ево дражняют?

Митька слышал сзади осторожный, воровской шаг есаульского коня, молчал.

— Ну? — зло шурился Крючков.

Сзади, в рядах, сдержанно захохотали. Не поняв над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул.

— Коршунов, ты гляди... Приедем — полсотни пряжек ввалю!

Митька повел плечами, решил.

— Черногуз.

— Ну, то-то и оно.

— Крю-ю-чко-ов! — окликнули сзади.

Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу.

— Ты чтэ ж это, мерзэвэц, здесь выдумываешь? — заговорил есаул Попов, равняя свою лошадь с лошадью Крючкова. — Ты чему ж это учишь мэлодого кэээка? А?

Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливала гуща бордового румянца. Сзади похохатывали.

— Я кэго в прэшлом гэдэ учил? Об чью мэрду этот нэготь слэмал?.. — есаул поднес к носу Крючкова длинный, заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами.

— Чтэб я больше этого не слэшал, пэнимэешь, брэтец ты мой?

— Так точно, ваше благородие, понимаю.

Есаул, помедлив, от'ехал и придержал коня, пропуская сотню Четвертая и пятая сотня двинулись рысью.

— Сэтня, рысь возьми!..

Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего есаула и, выравнивая пику, взбалмошно махнул головой.

— Вот, растуды ево, с черногузом! Откель он взялся?

Весь потный от смеха, Иваңков рассказывал:

— Он, давишь, едет позади нас. Он все слышал. Кубыть учуял про што речь идет.

— Ты б хоть мигнул, дура!

— А мне-то нужно.

— Не нужно? Ага, четырнадцать пряжек по голой.

Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам. Днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью, на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дыме костров поитрывали в карты, рассказывали сказки и дурили.

Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки кинули стан в трех верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий, толстый почтенный шляхтич, вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал «козак» помахиванием белого, с лакированным козырьком, картуза.

— Иди с нами косить, пан!

— Жир иди растряси трошки.

— Бери косу, а то паралик захлестнет!.. — кричали из белорубашных шеренг казаков.

Пан очень хладнокровно улыбался, вытирал каемчатым платком закатную розовость лысины и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы.

В полдень приезжала кухня. Казаки умывались и шли за хлебом. Ели молча, зато уж в послеобеденный получасовой отдых наворачивались разговором.

— Трава туту поганая. Супротив нашей степовой не выйдет.

— Пырею почти нету.

— Наши в Доншинке теперь уж откосились.

— Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца, дождь обмывать будет.

— Скупой поляк, за труды хучь бы по бутылке на гаврика пожаловал.

— Ого-го-го! Он за бутылку в алтаре...

— Во, братушки, што бы это обозначало: чем богаче — тем скупее?

— Это у царя спроси.

— А дочерю помещикову кто видал?

— А што?

— Мя-а-сис-тая девка.

— Баранинка?

— Во-во...

— С сырцом бы ее хрумкнул...

— Правда ай нет гутарюють, што за нее из царскова роду сваталися?

— Простому рази такой шмоток достанется.

— Ребя, надьсь слышал брехню, будто высочайшая смотра нам будет.

— Коту делать нечево, так он...

— Ну, ты брось, Тарас!

— Дай дымнуть, а?

— Чужбинник-дьявол, с длинной рукой под церкву.

— Гля, служивые, у Федотки и плям хорош, а куру нету.

— Одна пепла осталась.

— Тю, брат, разуй, гляделки, — там огню, как у доброй бабы.

Лежали на животах. Курили, жгли до краснины оголенные спины. В сторонке человек пять старых казаков допытывались у одного из молодых.

— Ты какой станицы?

— Еланской.

— Из козлов, значитя?

— Так точно.

— А на чем у вас там соль возют?

Неподалеку на попонке лежал Крючков Козьма, скучал, наматывал на палец жидкую поросль усов.

— На конях.

— А ищо на чем?

— На быках.

— Ну, а тарань с Крыму везут на чем? Знаешь, такие быки есь с кочками на спине, колючки жрут... Как их звать-то?

— Верблюды.

— Ого-хо-хо-ха-ха!..

Крючков лениво подымался, шел к проштрафившемуся, по-верблужьи сутулясь, вытягивая кадыкастую, шафрано-смуглую шею, на ходу снимал пояс.

— Ложись!

А вечерами, в опаловой июльской темени, в поле, у огня:

Поехал казак на чужбину далеку
На добром своем коне вороном,
Свою он краину навеки покинул..

Убивается серебряный тенорок, и басы стелят бархатистую густую печаль:

Ему не вернуться в отеческий дом.

Тенор берет ступенчатую высоту, хватает за самое оголенное:

Напрасно казачка ево молодая
Все утро и вечер на север смотрит,
Все ждет она, поджидает с далекого края,
Когда ж ее милый казак-душа прилетит.

И многие голоса хлопочут над песней, оттого и густа она и хмельна, как полесская брага.

А там за горами, где выются мятели,
Зимою морозы лютые трещат,
Где сдвинулись грозно и сосны и ели,—
Казачьи кости под снегом лежат.

Рассказывают голоса нехитрую повесть казачьей жизни, и тенор-подголосок трещит жаворонком над апрельской талой землей.

Казак, умирая, просил и молил —
Насыпать курган ему большой в головах.

Вместе с ним тоскуют басы:

Пущай на том, на кургане калина родная
Растет и красуется в ярких цветах.

У другого огня реже народа, и песня иная.

Ах, с моря буйнова да с Азовскава,
Корабли на Дон плывут.
Возвращается домой
Атаман молодой.

У третьего поодаль огня, покашливая от дыма, вяжет сотенный красной замысловатые петли сказки. Слушают с неослабным вниманием, изредка лишь, когда герой рассказа особенно ловко выворачивается из каверз, подстроенных ему москалями и нечистой силой, в полосе огня мелькнет белесь чьей-нибудь ладони, шлепнет по голенищу сапога, продыmlенный перхающий голос воскликнет восхищенно:

— Ах, язви раз'язви, вот здорово!..

И снова текущий бесперебойный голос рассказчика.

Через неделю после того, как полк пришел на лунки, есаул Попов позвал сотенного коваля и вахмистра.

— Кэж кони? — к вахмистру.

— Ничего, ваше благородие, очень приятно даже. Желобки на спинах посправняли. Поправляются.

Есаул в стрелку ссучил черный ус (отсюда и прозвище — черногуз), сказал:

— Прикэз от кэмэндира пэлка пэлудить стремена и удила. Будет высэчэйший смэтр пэлку. Чтэбы все было с блескэм; чтэ седельцо, чтэ все эстэльное. Чтэб нэ кэээков было любо-мило-дорого глянуть Кэгда, брэтец ты мой, будет гэтово?

Вахмистр глянул на коваля. Коваль глянул на вахмистра. Оба глянули на есаула.

— Либо-што к воскресенью, ваше благородие? — И почтительно тронул пальцем собственный заплесневелый в табачной зелени ус.

— Смэтри у меня, — грозно предупредил есаул.

С тем и ушли вахмистр с ковалем.

С этого дня начались приготовления к высочайшему смотру. Иванков Михаил, сын каргиновского коваля, — сам знающий коваль, помогал лудить стремена и удила, остальные сверх нормы скребли коней, чистили уздечки, терли битым кирпичом трензеля и металлические части конского убора.

Через неделю полк блестел свеженьким двугривенным. Лоснилось глянцем все, начиная от конских копыт до лица казаков. В субботу командир полка, полковник Греков, смотрел полк и благодарил господ офицеров и казаков за ретивую подготовку и бравый вид.

Разматывалась голубая пряжа июльских дней. Добрели от сытых кормов казачьи кони, лишь казаки сумятятся, червоточат их догадки, — ни слуху, ни духу про высочайший смотр... Недели шли в коловертных разговорах, гоньбе, подготовке. Бревном по голове приказ — выступать в Вильно. К вечеру были там. По сотням второй приказ:

Убирать в цейхгауз сундуки с казачьим добром и приготавливаться к возможному выступлению.

— Ваше благородие, к чему ба это? — изнывали казаки, выпытывая у взводных офицеров истину.

Офицеры плечиками вздергивали. Сами за правду алтын бы заплатили.

— Не знаю.

— Маневры в присутствии государя будут?

— Неизвестно пока.

Вот офицерские ответы казакам на усладу. 12 июля вестовой полкового командира перед вечером успел шепнуть приятелю-казаку 6-й сотни Мрыхину, дневалившему на конюшне:

— Война, дядя!

— Брешьешь?..

— Истинный бог, а ты — цыц!

На утро полк выстроили дивизионным порядком. Окна казарм тускло поблескивали пыльным разбрызгом стекол. Полк в конном строю ждал командира.

Перед шестой сотней на подбористом беломом коне есаул Попов. Левой рукой в белой перчатке натягивает поводья. Конь бочит голову, изогнув колесистую шею, чешет морду о связку грудных мускулов.

Полковник вывернулся из-за угла казарменного корпуса, боком поставил лошадь перед строем. Адьютант достал платок, изящно топыря холеный мизинец, но высморкаться не успел. В беззвучно дребезжащую тишину полковник кинул:

— Казаки!.. — и властно загреб к себе общее внимание.

«Вот оно», — подумал каждый. Пружинилось нетерпеливое волнение. Митька Коршунов досадливо толкнул каблуком своего коня, переступившего с ноги на ногу. Рядом с ним в строю, в крепкой посадке обмер Иванков, слушал, зевласто раскрыв трегубый рот с исчернью неровных зубов. За ним жмурился, горбатясь, Крючков, еще дальше по-лошадиному стриг хрящами ушей Лапин, за ним виднелся рубчато выбритый кадык Щеголькова.

— ..Германия нам объявила войну.

По выровненным рядам шелест, — будто по полю вызревшего чернобылого ячменя прошлась, гуляя, ветровая волна. Вскриком резнуло слух конское ржанье. Округленные глаза и квадратная чернота раскрытых ртов в сторону первой сотни; там, на левом фланге, заржал конь.

Полковник говорил еще, расстанавливал в необходимом порядке слова, пытался подпалить чувство национальной гордости, но перед духовными глазами тысячи казаков не шелк чужих знамен шурша клонился к ногам, а свое буднее, сырцевато-кровное, разметавшись, кликало, голосило: жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы...

«...Через два часа погрузка на поезд» — единственное, что ворвалось в память каждому.

Толпившиеся неподалеку жены офицеров плакали в платочки. К казарме ватагами раз'езжались казаки. Сотник Хопров почти на руках нес свою белокурую беременную польку-жену.

К вокзалу полк шел с песнями. Заглушили оркестр, и на полпути он конфузливо умолк. Офицерские жены ехали на извозчиках, по тротуарам пенилась цветная толпа, щепнистую пыль сеяли конские

копыта, и, насмехаясь над своим и чужим горем, дергая левым плечом так, что лихорадочно ежился синий погон, кидал песенник-запевало охальные слова похабной казачьей:

Девица красная, шуку я поймала.

Сотня, нарочито сливая слова, под аккомпанемент свежекочанных лошадиных копыт, несла к вокзалу, к красным вагонным курениям, лишенько свое — песню.

Шуку я, шуку я, шуку я поймала.

От хвоста сотни, весь багровый от смеха и смущенья, скакал к песенникам полковой ад'ютант. Запевало наотлет занося бросал поводья, цинично подмигивал в густые на тротуарах толпы провожавших казаков женщин, и по жженной бронзе его щек к черным усикам стекал горький польнный настой, а не пот.

На путях предостерегающе, трезво ревел, набирая пары, паровоз.

Эшелоны. Эшелоны. Эшелоны. Эшелоны несчетно.

По артериям страны, по железным путям к западной границе горит взбаламученная Россия серошинельную кровь.

VIII

В местечке Торжок полк разбили по сотням. Шестая сотня, на основании приказа штаба дивизии, была послана в распоряжение 3-го армейского пехотного корпуса и, пройдя походным порядком до местечка Пеликалие, выставила посты.

Граница еще охранялась нашими пограничными частями. Подтягивались пехотные части и артиллерия. К вечеру 24 июля в местечко прибыл батальон 108-го Глебовского полка и батарея. В близлежащем фольварке Александровском находился пост из девяти казаков, под начальством взводного урядника.

В ночь на 27-е есаул Попов вызвал к себе вахмистра и казака Астахова.

Астахов вернулся к взводу уже затемно. Митька Коршунов только что привел с водопоя коня.

— Это ты, Астахов? — окликнул он

— Я. А Крючков с ребятами где?

— Там в халупе.

Астахов, большой, прузноватый и черный казак, подслепю жмурясь, вошел в хату. За столом у лампы-коптюшки Щегольков сшивал дратвой порванный чумбур. Крючков, заложив руки за спину, стоял у печи,

подмигивал Иванкову, указывая на оплывшего в водянке хозяина-поляка, лежавшего на кровати. Они только что пересмеялись, и у Иванкова еще дергал розовые щеки смешок.

— Завтра, ребята, чуть свет выезжать на пост.

— Куда?—спросил Щегольков и, заглядевшись, уронил невсученную в драгву щетинку.

— В местечку Любовь.

— Кто поедет?—спросил Митька Коршунов, входя и ставя у порога цыбарку.

— Поедет со мной Щегольков, Крючков, Рвачов, Попов и ты, Иванков.

— А я, Павлыч?

— Ты, Митрий, останешься.

— Ну, и чорт с вами!

Крючков оторвался от печки, с хрустом потягиваясь, спросил у хозяина:

— Сколько до Любви до этой верст кладут?

— Четыре мили.

— Тут близко, — сказал Астахов и, присаживаясь на лавку, снял сапог.

— А где б тут портянку высушить?

Выехали на заре. У колодезя на выезде босая девка черпала бадьей воду. Крючков приостановил коня.

— Дай напиться, любушка?

Девка, придерживая рукой холстинную юбку, прошлепала по луже розовыми ногами и, улыбаясь серыми, в густой опушке ресниц глазами, подала бадью. Крючков пил, и рука его, державшая на весу тяжелую бадью, дрожала от напряжения; на красную лампасину шлепались, дробясь и стекая, капли.

— Спаси Христос, сероглазая.

— Богу Иисусу.

Она приняла бадью и отошла, оглядываясь, улыбаясь.

— Ты чего скалишься, поедем со мной?

Крючков посунулся на седле, словно место давал.

— Трюгай! — крикнул, отъезжая, Астахов.

— Загляделся, — насмешливо скосился на Крючкова Рвачов.

— У ней ноги красные, как у гулюшки, — засмеялся Крючков, и все, как по команде, оглянулись.

Девка нагнулась над срубом, выставив туго обтянутый раздвоенный зад, раскорячив красно-ижские полные ноги.

— Жениться бы... — вздохнул Попов.

- Дай я те плеткой оженю разок? — предложил Астахов.
- Плеткой што...
- Жеребцуешь?
- Выложить его придется.
- Мы ему перекрут, как бугаю, сделаем.

Пересеиваясь, казаки пошли рысью. С ближнего холма завиднелось раскинутое в ложбинке и по изволоку местечко Любовь. За спинами розовым бабьим задом перлось из-за холмья солнце. В стороне, над чашечкой телеграфного столба, надсаживался жаворонок.

Астахов, как только что окончивший учебную команду, был назначен начальником поста. Он выбрал место стоянки в последнем дворе, стоявшем на отшибе, в сторону границы. Хозяин, — бритый, кривоногий поляк, в белой войлочной шляпе, — отвел казаков в стодол, указав, где поставить лошадей. За стодолом, за реденьким пряслон зеленела деляна клевера. Взгорье горбилось до ближнего леса, дальше белесились хлеба, перерезанные дорогой, и опять — зеленые, глянцевого цвета ломти клевера. За стодолом у канавки дежурили поочередно, с биноклем. Остальные лежали в прохладном стодоле. Пахло там слежавшимся хлебом, пылью мякины, мышинным пометом и сладким плесневелым душком земляной ржавчины.

Иванков, прислонившись в темном углу у плуга, спал до вечера. Его разбудили на закате солнца. Крючков в щепоть захватив кожу у него на шее, оттягивал ее, приговаривая:

- Раз'елся на казенных харчах, нажрал калкан, ишь! Вставай, ляда, иди немцев карауль.
- Не дури, Козьма!
- Вставай!
- Ну, брось! Ну, не дури... Я зараз встану.

Он поднялся опухший, красный, покрутил котельчатой короткошейей головой, надежно приделанной к широким плечам, чмыкая носом (простыл, лежа на сырой земле), перевязал патронташ и волоком потянул за собой к выходу винтовку. Он сменил Щеголькова и, приладив бинокль, долго глядел на северо-запад, к лесу.

Там бугрился под ветром белесый размет хлебов, на зеленый мысок ольхового леса низвергался рудой поток закатного солнца. За местечком, в речушке (лежала она голубой, нарядной дугой), бляели купающиеся ребятишки. Женский контральтовый голос звал: «Стасю! Стасю! Пидь до мене!» Щегольков свернул покурить, сказал, уходя:

- Закат вон как погорел. К ветру.
- К ветру, — согласился Иванков.

Ночью кони стояли расседланные. В местечке гасли огни и шумок. На следующий день утром Крючков вызвал Иванкова из стодала.

— Пойдем в местечко.

— Чево?

— Пожрем чево-нибудь, выпьем.

— Наверяд,—усумнился Иванков.

— Я тебе говорю, я спрашивал у хозяина. Вон в энтой халупе, видишь — вон сарай черепичный? — указал Крючков черным когтястым пальцем,— там у жида пиво есть, пойдём.

Пошли. Их окликнул выглянувший из дверей стодала Астахов.

— Вы куда?

Крючков, чином старше Астахова, отмахнулся.

— Зараз придем.

— Вернитесь, ребята!

— Не гавкай!

Старый, пейсатый, с вывернутым веком еврей встретил казаков с поклонами.

— Пиво есть?

— Уже нет, господин кбзак.

— Мы за деньги.

— Иезус Мария, да разве я... Ах, господин кбзак, верьте честному еврею, нет уже пива.

— Брешешь ты, жид!

— Та, пан кбзак, я уже говорю.

— Ты, вот чево... — досадливо перебил Крючков и полез в карман шаровар за потертым портмонетом.

— Ты дай нам, а то ругаться зачну.

Еврей мизинцем прижал к ладони монету, опустил вывернутое трубочкой веко и пошел в сени.

Спустя минуту принес влажную, с ячменной шелухой на стенках бутылку водки.

— А говорил нету. Эх, ты, папаша!

— Я говорил пива нету.

— Закусить-то дай чево-нибудь.

Крючков шлепком высадил пробку и налил чашку вровень с выщербленными краями.

Вышли полупьяные. Крючков приплясывал и грозил кулаком в олна, зиявшие черными провалами глаз.

В стодале зевал Астахов. За стенкой мокро хрустели сеном кони. Вечером уехал с донесением Попов. День разменяли в бездельи.

Вечер. Ночь. Над местечком в выси рубленой раной желтый развал молодого месяца.

Изредка в саду за домом упадет с яблони вызревший плод. Слышен мокрый шлепок. Около полуночи Иванков услышал конский топот по улице местечка... Вылез из канавы, вглядываясь, но на месяц бинтом легло облако: ничего не видно за серым ряднищем непрогляди. Он растолкал спавшего у входа в стодол Крючкова.

— Козьма, конные идут, встань-ка!

— Откуда?

— По местечку.

Вышли. По улице, саженьях в пятидесяти, хрушко чечекал копытный говор.

— Побегем в сад! Оттель слышно!

Мимо дома — рысью в садок, залегли под плетнем. Глухой говор. Звяк стремян. Скрип седел. Ближе. Видны смутные очертания всадников. Едут по четыре в ряд.

— Кто едет?

— А тебе кого надо? — откликнулся тенорок из передних рядов.

— Кто едет? Стрелять буду! — Крючков клацнул затвором.

— Т-р-р-р! — Остановил лошадь один и под'ехал к плетню

— Это пограничный отряд. Пост, что ли?

— Пост.

— Какого полка?

— Третьего казачьева.

— С кем это ты там, Тришин? — спросили из темноты

Под'ехавший отозвался.

— Это казачий пост, ваше благородие.

К плетню под'ехал еще один.

— Здорово, казаки.

— Здравствуйте, — не сразу откликнулся Иванков.

— Давно вы тут?

— Со вчерашнево дня.

Второй под'ехавший зажег спичку, закуривая, и Крючков увидел офицера в форме пограничника.

— Наш пограничный полк сняли с границы, — заговорил офицер, пыхая папироской, — имейте в виду, что вы теперь — любовые. Противник завтра, пожалуй, продвинется сюда.

— Вы куда же едете, ваше благородие? — спросил Крючков, не снимая пальца со спуска.

— Мы должны в двух верстах отсюда присоединиться к нашему эскадрону. Ну, трогай, ребята. Всего хорошего, казаки!

— Час добрый!

Ветер безжалостно сорвал с месяца хлопчатый бинт тучи, и на местечко, на купы садов, на шишкастую верхушку стодола, на отряд,

выезжавший на взгорье, желтой, гнойной сукровицей потек мертвенный свет.

Утром уехал с донесением в сотню Рвачов. Астахов переговорил с хозяином, и тот за небольшую плату разрешил скосить лошадям клевера. С ночи лошади стояли оседланные. Казаков пугало то, что они остались лицо с лицом с противником. Раньше, когда знали, что впереди их пограничная стража, не было этого чувства оторванности и одиночества, тем сильнее сказалось оно после известия о том, что граница обнажена.

Хозяйская пашня была неподалеку от стодола. Астахов назначил косить Иванкова и Щеголькова. Хозяин, под белым лопухом войлочной шляпы, повел их к своей деляне. Щегольков косил, Иванков греб влажную, тяжелую траву и увязывал ее в фуражирки. В это время Астахов, наблюдавший в бинокль за дорогой, манившей к границе, увидел бежавшего по полю с юго-западной стороны мальчишку. Он бурым, неслинявшим зайцем катился с пригорка и еще издали что-то кричал, махая длинными рукавами сюртучишка. Он подбежал и, глотая воздух, поводя округленными глазами, крикнул.

— Козак, козак, пшишел герман! Герман пшишел, от-то!.. — Он протянул хоботок длинного рукава, и Астахов, припавший к биноклю, увидел в окружье стекол далекую густую пруппу конных. Не отдирая от глаз бинокля, зыкнул:

— Крючков!

Тот выскочил из косых дверей стодола, оглядываясь.

— Беги, ребят кличь! Немцы, Немецкий раз'езд!

Он слышал топот бежавшего Крюčkова и теперь уже ясно видел в бинокль плывшую за рыжеватой полосой травы кучку всадников. Он различил даже гнедую масть их лошадей и темно-синюю окраску мундиров. Их было больше 20 человек. Ехали они тесно скучившись, в беспорядке; ехали с юго-западной стороны, в то время как наблюдатель ждал их с северо-запада. Они пересекли дорогу и пошли наискось по гребню над котловиной, в которой разметалось местечко Любовь.

Высунув из морщиненных губ кутец прикушенного языка, сопя от напряжения, Иванков затягивал в фуражирку ворох травы; рядом с ним, посасывая трубочку, стоял колченогий хозяин-поляк. Он сунул руки за пояс и из-под полей шляпы, насупонясь, оглядывал косившего Щеголькова.

— Рази это коса? — ругался тот, злобно взмахивая игрушечно-маленькой косой, — косишь ей?

— Косу, — ответил поляк, заплетая языком за обрызванный мундштук, и выпростав один палец из-за пояса.

— Этой твоей косой у бабы на причинном месте косить!

— Угу-м, — согласился поляк.

Иванков пырскнул, мордатое лицо его вспухло краской — тронь ногтем, и тугой цевкой свистнет кровь. Он хотел что-то сказать и, оглянувшись, увидел бежавшего по пашне Крючкова. Тот бежал, приподняв рукой шашку, вихляя ногами по кочковатой пахоте.

— Бросайте.

— Чево ишо? — спросил Щегольков, втыкая косу острием в землю.

— Немцы!

Иванков выронил фуражирку. Хозяин, пригинаясь, почти цепляя руками землю, словно над ним взыкали тули, побежал к дому.

Только что добрались до стодола и, запыхавшись, вскочили на коней, — увидели роту русских солдат, втекавшую со стороны Пеликалие в местечко. Казаки поскакали навстречу. Астахов доложил командиру роты, что по бугру, огиная местечко, идет немецкий раз'езд. Капитан строго оглядел носки своих сапог, присыпанные пыльным ииеем, спросил.

— Сколько их?

— Больше двадцати человек.

— Езжайте им наперерез, а мы отсюда их обстреляем.

Он повернулся к роте, скомандовал построение и быстрым маршем повел солдат.

Когда казаки выскочили на бугор, немцы, уже опередив их, шли рысью, пересекая дорогу на Пеликалие. Впереди выделялся офицер на светло-рыжем куцехвостом коне.

— В догон! Мы их нагоним на второй пост! — скомандовал Астахов.

Приставший к ним в местечке конный пограничник отстал.

— Ты чево же? Отломил, брат? — оборачиваясь крикнул Астахов.

Пограничник махнул рукой и шагом стал с'езжать в местечко. Казаки шли шибкой рысью. Даже невооруженным глазом ясно стало видно синюю форму немецких драгун. Они ехали куцой рысью, по направлению на второй пост, стоявший в фольварке, верстах в трех от местечка, и оглядывались на казаков. Расстояние, разделявшее их, заметно сокращалось.

— Обстреляем! — хрипнул Астахов, прыгая с седла.

Стоя, намотав на руки поводья, дали залп. Лошадь Иванкова стала в дыбки, повалила хозяина. Падая, он видел, как один из немцев свалился с лошади: вначале лениво клонился на бок и вдруг, кинув руками, упал. Немцы, не останавливаясь, не вынимая из чехлов карабинов, поскакали, переходя в намет. Рассыпались реже. Ветер крутил матерчатые флюгерки на их пиках. Астахов первый вскочил на коня. Налегли на плети. Немецкий раз'езд под острым углом повернул влево, и

казаки, преследуя их, проскакали в сорока сажнях от упавшего немца. Дальше шла холмистая местность, изрезанная неглубокими ложбинами, изморщенная зубчатыми ярками. Как только немцы поднимались из ложбины на ту сторону, — казаки спешивались и выпускали им вслед по обойме. Против второго поста свалили еще одного.

— Упал! — крикнул Крючков, занося ногу в стремя.

— Из фольварка зараз наши!.. Тут второй пост... — бормотал Астахов, загоня обкуренным желтым пальцем в магазинную коробку новую обойму.

Немцы перешли на ровную рысь. Проезжая, поглядывали на фольварк, но двор был пустынен, черепичные крыши построек ненасытно лизало солнце. Астахов выстрелил с коня. Чуть приотставший задний немец мотнул головой и дал лошади шпоры.

Уже после выяснилось, что казаки ушли со второго поста этой ночью, узнав, что телеграфные провода в полверсте от фольварка перерезаны.

— На первый пост погоним! — крикнул, поворачиваясь к остальным, Астахов.

И тут только Иванков заметил, что у Астахова шелушится нос, тонкая шкурка висит на ноздрине.

— Чево они не обороняются? — тоскливо спросил он, поправляя за спиной винтовку.

— Погоди ишо... — крикнул Щегольков, дыша, как сапная лошадь.

Немцы спустились в первую ложбину, не оглядываясь. По ту сторону чернела пахата, с этой стороны кустился бурьянок и редкий кустарник. Астахов остановил коня; сдвинув фуражку, вытер пыльной стороной ладони зернистый пот. Он оглядел остальных, сплюнув сухой комок слюны, сказал:

— Иванков, езжай к котловине, глянь, где они?

Иванков, кирпично красный, с мокрой от пота спиной, жадно облизал зачерствелые губы и поехал.

— Курнуть ба, — шопотом сказал Крючков, отгоня плетью овода.

Иванков ехал шагом, приподнимаясь в стремях, заглядывая вниз котловины. Сначала он увидел колышущиеся кончики пик, потом внезапно показались немцы, повернувшие лошадей, шедшие из-под склона котловины в атаку. Впереди, картинно подняв палаш, скакал офицер. За момент, когда поворачивал коня, Иванков запечатлел в памяти безусое нахмуренное лицо офицера, статную его посадку. Градом по сердцу топот немецких коней.. Спиной до боли ощутил Иванков щиплющий холодок смерти. Он крутнул коня и молча поскакал назад. Астахов не успел сложить кисет, сунул его мимо кармана.

Крючков, увидев за спиной Иванкова немцев, поскакал первый. Правифланговые немцы шли Иванкову наперерез. Настигали его с диковинной быстротой. Он хлестал коня плетью, оглядывался. Кривые судороги сводили его посеревшее лицо, выдавливали из орбит глаза. Впереди, припав к луке, скакал Астахов. За Крючковым и Щегольковым вихрилась бурая пыль.

— Вот, вот догонит! — стыла мысль, и Иванков не думал об обороне; сжимал в комок свое большое полное тело, головой касался холки коня.

Его догнал рослый рыжеватый немец. Он пикой ширнул его в спину. Острие, пронизав ременный пояс, наискось на полвершка вошло в тело.

— Братцы, вертайтесь!..—обезумев крикнул Иванков и выдернул из ножен шашку.

Он отвел второй удар, направленный ему в бок и, привстав, рубнул по спине скакавшего с левой стороны немца. Его окружили. Рослый немецкий конь грудью ударился в бок его коню, чуть не сшиб с ног, и близко, в упор увидел Иванков страшную муть чужого лица. Первый подскакал Астахов. Его оттерли в сторону. Он отмахивался шашкой, вьюном вертелся в седле, оскаленный, изменившийся в лице, как мертвец. Иванкова концом палаша полоснули по шее. С левой стороны над ним вырос драгун, и блекло в глазах метнулся разящий на взлете палаш. Он подставил шашку: сталь о сталь брызнула визгом. Сзади пикой подовздели ему погонный ремень, настойчиво перли, срывали его с плеча. За задратой головой коня маячило потное, разгоряченное лицо веснучатого немолодого немца. Дрожа отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь. Палаш не доставал, и немец, кинув его, рвал из пристроченного к седлу желтого чехла карабин, не спуская с Иванкова часто мигающих, напуганных коричневых глаз. Он не успел достать карабин—через лошадь его достал пикой Крючков, и немец, разрывая на груди темно-синий мундир, запрокидываясь назад, испуганно-удивленно ахнул:

— Мейн муттер!

В стороне человек восемь драгун огорновали Крюčkова. Его хотели взять живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь всем телом, отбивался шашкой до тех пор, пока ее не выбили. Выхватив у ближнего немца пику, развернул ее, как на ученьи.

Отхлынувшие немцы щепили ее палашами. Возле небольшого клина суглинистой невеселой пахоты грудились, перекипали, колыхаясь в схватке, как под ветром. Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили по чем попаало: по спинам, по рукам, по лошадям и оружию.. Обеспамятевшие от смертного ужаса лошади налетали и бестолково сшибались. Овладев собою, Иванков несколько раз пытался поразить

наседавшего на него длиннوليцеого, белесого драгуна по голове, но шашка падала на стальные боковые пластинки каски, соскальзывала.

Астахов порвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке. Немцы, все израненные нелепыми ударами, потеряв офицера, рассыпались, отошли; их не преследовали, по ним не стреляли вслед. Казаки поскакали напрямки к местечку Пеликалие, к сотне; немцы, подняв упавшего с седла раненого товарища, уходили к границе

Отскакав с полверсты, Иванков зашатался.

— Я все... Я падаю!..—Он остановил коня, но Астахов дернул поводья.

— Ходу!

Крючков размазывал по лицу кровь, щупал грудь. На гимнастерке ряно мокрела кровь. От фольварка, где находился второй пост, они разбились на-двое.

— Направо ехать, — сказал Астахов, указывая на сказочно зеленевшие за двором болота в ольшаннике.

— Нет, налево, — заупрямился Крючков.

Раз'ехались. Астахов с Иванковым приехали в местечко после. У околицы их ждали казаки своей сотни.

Иванков кинул поводья, прыгнул с седла и, закачавшись, упал. Из закаменевшей руки его с трудом вынули шашку.

Спустя час почти вся сотня выехала на место, где был убит германский офицер. Казаки сняли с него обувь, одежду и оружие, толпились, рассматривая молодое, нахмуренное, уже пожелтевшее лицо убитого. Усть-хоперец Тарасов успел снять с убитого часы с серебряной решеткой и тут же продал их взводному уряднику. В бумажнике нашли немного денег, письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с надменно улыбающимся ртом.

IX

Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста за то, что из Петербурга и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими папиросами и сладостями, а он вначале порол их тысячным матом, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал из этого доходную профессию: рассказывал о «подвиге», стущая краски до черноты, врал без зазрения совести, и дамы восторгались, с восхищением

смотрели на рябоватое разбойническое лицо казака-героя. Всем было хорошо и приятно.

Приехал в ставку царь, и Крючкова возили ему на показ. Рыжеватый, сонный император осмотрел Крючкова, как лошадь, поморгал кислыми сумчатыми веками, потрепал его по плечу.

— Молодец, казак! — и повернувшись к свите: — Дайте мне сельтерской воды.

Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов. Были папиросы с Крючковым. Нижегородское купечество поднесло ему золотое оружие.

Мундир, снятый с германского офицера, убитого Астаховым, прикрепили к фанерной широкой доске, и генерал фон-Рененкампф, посадив в автомобиль Иванкова и адъютанта с этой доской, ездил перед строем уходивших на передовые позиции войск, произносил зажигательно-казенные речи.

А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать руку на уничтожении себе подобных, в об'явшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей: и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, раз'ехались, нравственно искалеченные.

Это называли подвигом.

Х

Фронт еще не улегся многоверстной неподатливой гадюкой. На границе вспыхивали кавалерийские стычки и бои. В первые дни после об'явления войны германское командование выпустило щупальцы — сильные кавалерийские раз'езды, которые тревожили наши части, скользя нал постами, выведывая расположение и численность войсковых частей противника. Перед фронтом 8-й армии Брусилова шла 12-ая кавалерийская дивизия под командой генерала Каледина. Левее перевалив австрийскую границу, продвигалась 11-ая кавалерийская дивизия. Части ее, с боем забрав Лешнюв и Броды, топтались на месте, — к австрийцам подвалило подкрепление, и венгерская кавалерия с наскоку шла на нашу конницу, тревожа ее и тесня к Бродам.

Григорий Мелехов после боя под городом Лешнювым тяжело перемальвал в себе нудную нутряную боль. Он заметно исхудал, сдал в весе, всюду в походах и на отдыхе, во сне и в дремоте преследовал его недавний знакомец-австриец, — тот, которого срубил у решетки. Необычайно часто переживал он во сне ту первую схватку и даже во сне, отягощенный воспоминаниями, ощущал он судорожную конвульсию своей правой руки, зажавшей древко пики; просыпаясь, гнал от себя сон, заслонял ладонью до боли зажмуренные глаза.

Вызревшие хлеба топтала конница, на полях легли следы острошипых подков, будто град пробарабанил по всей Галиции. Тяжелые солдатские сапоги трамбовали дороги, щербнили шоссе, взмешивали августовскую грязь.

Там, где шли бои, хмурое лицо земли оспой взрыли снаряды, ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови, осколки чугуна и стали. По ночам за горизонтом тянулись к небу рукастые алые зарева, зарницами полыхали деревни, местечки, городки. В августе, — когда созревает плод и доспевают хлеба, — небо, выстиранное ветром, неулыбчиво серело, редкие погожие дни томили парной жарой.

К исходу клонился август. В садах жирно желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью.

Григорий с интересом наблюдал за изменениями, происходившими с товарищами по сотне. Прохор Зыков, только что вернувшийся из лазарета, с рубцеватым следом кованного копыта на щеке, еще таил в углах губ боль и недоумение, чаще моргал ласковыми телячьими глазами; Егорка Жарков при всяком случае ругался тяжкими непристойными ругательствами, похабничал больше, чем ранее, и клял все на свете; хуторянин Григория Емельян Грошев, серьезный и деловитый казак, весь как-то обуглился, почернел, нелепо похахакивал, смех его был непроизволен, угрюм. Перемены вершились на каждом лице, каждый по-своему вынашивал в себе и растил железные семена, посеянные войной, и все вместе молодые, только что вырванные из станиц и хуторов казаки, в обстановке творившегося кругом смертного ужаса, напоминали стебли скошенной, вянущей и меняющей свои очертания травы.

Полк, выведенный из линии боев, стоял на трехдневном отдыхе, пополняемый прибывшим с Дона подкреплением. Сотня только что собралась итти на купанье в помещичий пруд, когда со станции, расположенной в 3 верстах от имения, выехал крупный отряд конницы.

Пока казаки третьей сотни дошли до плотины, отряд, выехавший со станции, спустился под изволок, и теперь ясно стало видно, что конница — казаки. Прохор Зыков, выгинаясь, снимал на плотине гимнастерку, выпростав голову, взгляделся.

— Наши, донские.

Григорий, жмурясь, глядел на колонну, сползавшую в имение.

— Маршевые пошли.

— К нам, небось, пополнение.

— Должно, вторую очередь подбирают.

— Глякось, ребята, да ить это Степан Астахов. Вон в третьем ряду! — воскликнул Грошев и коротко, скрипуче хахакнул.

— Подбирают и ихнево брата.

— А вон Аникушка.

— Гришка! Мелехов! Брат, вон он! Угадал?

— Угадал.

— Могарыч с тебя, шатун, я первый угадал.

Собрав на скулах рытвинки морщин, Григорий вглядывался, угадывая под Петром коня. «Нового купили»,— подумал и перевел взгляд на лицо брата, странно измененное давностью встречи, загорелое, с подрезанными усами пшеничного цвета и обожженными солнцем серебристыми бровями. Пошел ему навстречу, сняв фуражку, помахивая рукой, как на ученьи. За ним с плотины хлынули полураздетые казаки, обменяя ломкую поросль пустостволого купыря и застарелый лопушатник.

Маршевая сотня шла, огиная сад, в имение, где расположился полк Вел ее есаул, пожилой и плотный, с свежее выбритой головой, с деревянно твердыми загибами властного бритого рта.

«Хрипатый, должно, и злой»,— подумал Григорий, улыбаясь брату и оглядывая мельком крепко подогнанную фигуру есаула, горбоносого коня под ним, калмыцкой, видно, породы.

— Сотня! — звякнул есаул чистым насталенным голосом, — взводными колоннами, левое плечо вперед, марш!

— Здорово, братуха! — крикнул Григорий, улыбаясь Петру и радостно волнуясь.

— Слава богу! К вам вот! Ну, как?

— Ничево.

— Живой?

— Покедова.

— Поклон от наших.

— Как там они?

— Здравствуют.

Петро, опираясь ладонью о круп плотного бледно-рыжей масти коня, всем корпусом поворачивался назад, скользил улыбчивыми глазами по Григорию, отъезжал дальше, его заслоняли пропыленные спины других, знакомых и незнакомых.

— Здорово, Мелехов! Поклон от хутора!

— И ты к нам? — скалился Григорий, узнав Мишку Кошевого по золотой глыбе чуба.

— К вам. Мы, как куры на просо.

— Наклюешься, скорей тебе наклюют.

— Но-но!

От плотины в одной рубахе чикилял на одной ноге Егорка Жарков. Он кособочился, растопыривая рогатил шаровары, норовил попасть ногой в болтающуюся калошину.

— Здорово, станишники!

— Тю-ю-у! Ды ить это Жарков Егорка.

— Эй, ты, жеребец, аль стреножили?

— Как мать там?

— Живая.

— Поклон шлет, а гостинцу не взяли — и так чижало.

Егорка с необычно серьезным лицом выслушал ответ и сел голым задом на траву, скрывая расстроенное лицо, не попадая дрожащей ногой в штанину.

За крашеной в голубое огорожей стояли полураздетые казаки, с той стороны по дороге, засаженной каштанами, стекала во двор сотня, — пополнение с Дона.

— Станица, здорово!

— Да никак ты, сват Александр?

— Он самый.

— Андреян! Андреян! Чертило, вислоухий, не угадаешь?

— Поклон от жены, эй, служба!

— Спаси Христос.

— А иде тут Борис Белов?

— В какой сотне был?

— В четвертой, никак.

— А откель он сам?

— С Затона Вешенской станицы.

— На што он тебе сдался? — ввязывается в летучий разговор третий.

— Стал-быть, нужен. Письмо везу.

— Ево, брат, надьсь под райбродами убили.

— Да, ну?..

— Ей бо! На моих глазах. Под левую сиську пуля вдарила.

— Кто тут из вас с Черной Речки?

— Нету, проезжай.

Сотня вобрала хвост и строем стала посреди двора. Плотина загустила вернувшимися к купанью казаками.

Немного погодя подошли только что приехавшие из маршевой сотни. Григорий присел рядом с братом. Отсыревшая хрушкая глина на плотине тяжело пахла мертвечиной, сырью. Над краями зеленой травой зацветала густая вода. Григорий бил в рубцах и складках рубахи обескровленных, вялых вшей, рассказывал:

— Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый какой.. Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплюнули. — Голос у него жалующийся, надтреснутый, и борозда (её только что, с чувством внутреннего страха, заметил Петро), темнела,

стекая наискось лба, незнакомая, пугающая какой-то переменной, отчужденностью.

— Как оно? — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое тело с ровно надрезанной полосой загара от шеи.

— А вот видишь как, — заторопился Григорий, и голос окреп в злобе, — людей стравили — не попадайся. Хуже бирюков стал народ. Злоба кругом. Мне зараз думается, ежели человека мне уку-сить, он бешеный делается.

— Тебе-то приходилось.. убивать?

— Приходилось, — почти крикнул Григорий и скомкал и кинул под ноги рубаху. Потом долго мял пальцами горло, словно пропихивал застрявшее слово, смотрел в сторону.

— Говори, — приказал Петро, избегая и боясь встретиться с братом глазами.

— Меня совесть убивает. Я под Лешнювым заколол одного пикой. Сгоряча... Иначе нельзя было... А зачем я это срубил?

— Ну?

— Вот и ну, срубил зря человека и хвораю через нево, гада, душой. По ночам снится, сволочь. Аль я виноват?

— Вот как...

— Ваша сотня маршевая? — спросил Григорий, переводя разговор.

— Зачем? Нет, мы в 29-м полку.

— А я думал, нам подмога.

— Нашу сотню к какой-то пехотной дивизии пристегивают, это мы ее догоняем, а с нами маршевая шла, молодых к вам пригнали.

— Так. Ну, давай искупаемся.

— Ты не обмялся ишо. Погоди, оно войдет в чоку.

Григорий, торопясь, снял шаровары и отошел на гребень плотины, коричневый, сутуло-стройный, на взгляд Петра, постаревший за время разлуки.

Вытягивая руки, он головой вниз кинулся в воду, тяжелая зелень волны сомкнулась над ним и разошлась плесом. Он плыл к группе гоготающих по середине казаков, ласково шлепая ладонями по воде, лениво двигая плечами.

Петро долго снимал нательный крест и молитву, зашитую в материнское благословение. Гайтан сунул под рубаху, вошел в воду с опасливой брезгливостью, помочил грудь, плечи, охнув нырнул и поплыл, догоняя Григория. Отделившись они плыли вместе к тому берегу, песчаному, заросшему кустарником. Движение холодило, успокаивало, и Григорий, кидая взмахи, говорил сдержанно, без недавней страсти:

— Вша меня заела. С тоски. Я бы дома теперя побывал, так и полетел бы, кабы крылья были. Хучь одним глазком глянул бы. Ну, как там?

— Наталья у нас.

— А...

— Живет.

— Отец, мать как?

— Ничево. А Наталья все тебя ждет. Она думку держит, что ты к ней возвернешься.

Григорий фыркал и молча сплевывал попавшую в рот воду. Поворачивая голову, Петро норовил глянуть ему в глаза.

— Ты в письмах, хучь, поклоны ей посылай. Тобой баба и дышит.

— Што ж она... разорванное хочет связать?

— Да ить как сказать... Человек своей надеждой живет. Славная бабочка. Строгая. Себя дюже блюдет. Што б баловство какое, аль ишо чево — нету за ней этова.

— Замуж бы выходила.

— Чудное ты гутаришь.

— Ничево не чудное. Так оно должно быть.

— Дело ваше. Я в него не вступаюсь.

— А Дуняшка?

— Невеста, брат! Там за этот год так вымахала, што не спознаешь.

— Ну? — повеселев, удивился Григорий.

— Истинный бог. Выдадут замуж, а нам и усы в водку обмакнуть не придется.

— Убьют ишо, туды их мать!

— Чево хитрова.

Они вылезли на песок и легли рядом, облокотившись, греясь под суровеющим солнцем. Мимо плыл, до половины высываясь из воды. Мишка Кошевой.

— Лезь, Гришка, в воду.

— Полежу, погоди.

Зарывая в сыпкий песок жучка, Григорий, спросил:

— Про Аксинью што слыхать?

— Надьсь, перед тем, как об'явили войну, видел ее в хуторе.

— Чаво она туда забилась?

— Приезжала к мужу имение забирать.

Григорий кашлянул и похоронил жучка, надвинув ребром ладони ворох песку.

— Не гутарил с ней?

— Поздравствовался только. Она гладкая из себя, веселая. Видать, легко живет на панских харчах.

— Што ж Степан?

— Отдал ее огарки. Ничего обошелся. Но ты ево берегись. Остерегайся. Мне переказывали казаки, дескать, пьяный Степан грозился. как первый бой — даст тебе пулю.

— Ага.

— Он тебе не простит.

— Знаю.

— Коня себе справил, — перевел Петро разговор.

— Продали быков?

— Лысых. За сто восемьдесят. Купил за полтораста. Конь — куда тебе! На Цуцкане купили.

— Хлеба как?

— Добрые. Не довелось вот убрать. Захватили.

Разговор перекинулся на хозяйство, утрачивая напряженность. Григорий жадно впитывал в себя домашние новости. Жил эту минуту ими, похожий на прежнего норовистого и простого парня.

— Ну, давай охолонемся и одеваться, — предложил Петро, обметая с влажного живота песок, подрагивая. Кожа на спине его и руках поднялась пугырушками.

Шли от пруда толпой. У забора, отделявшего сад от двора именина, догнал их Астахов Степан. Он на ходу расчесывал костяной расческой свалывшийся чуб и, заправляя его под козырек, поровнялся с Григорием.

— Здорово, приятель.

— Здравствуй, — приотстал Григорий, встречая его чуть смущенным, с виноватцей, взглядом.

— Не забыл обо мне?

— Почти што.

— А я вот тебя помню, — насмешливо улынулся Степан и прошел не останавливаясь, обнял за плечи шагнувшего впереди казака в урядницких погонах.

Затемно из штаба дивизии получили телефонограмму с приказанием выступать на позицию. Полк смотался в каких-нибудь четверть часа, пополненный людьми, с песнями пошел заслонять прорыв, продырявленный мадыарской кавалерией.

При прощании Петро сунул брату в руки сложенный вчетверо листок бумаги.

— Што это? — спросил Григорий.

— Молитву тебе списал. Ты возьми...

— Помогает?

— Не смейсь, Григорий.

— Я не смеюсь.

— Ну, прощай, брат. Бывай здоров! Ты не вылетывай вперед других, а то горячих смерть метит. Берегись там! — кричал Петро.

— А молитва?

Петро махнул рукой.

До одиннадцати шли, не блюдя никакой предосторожности. Потом вахмистра разнесли по сотням приказ: итти с возможной тишиной, курево прекратить.

Над дальней грядкой леса взметывались окрашенные лиловым дымом ракеты.

XI

Небольшая, в сафьяновом, цвета под дуб, переплете, записная книжка. Углы потерты и заломлены — долго носил хозяин в кармане. Листки исписаны узловатым, косым почерком.

«...С некоторого времени явилась вот эта потребность общения с бумагой. Хочу вести подобие институтского «дневника». Прежде всего о ней: в феврале, не помню какого числа, меня познакомил с ней ее земляк, студент-политехник Боярышкин. Я столкнулся с ними у входа в кинематограф. Боярышкин, знакомя нас, говорил: «Это станичница, вешенская. Ты, Тимофей, люби ее и жалуй. Лиза — отменная девушка». Помню, я что-то изрек нечленораздельное и подержал в руке ее мягкую, потную ладонь. Так началось мое знакомство с Елизаветой Моховой. Что она испорченная девушка, я понял с первого взгляда: у таких женщин глаза горят больше, чем следует. Она на меня произвела, признаюсь, невыгодное впечатление: прежде всего, эта теплая мокрая ладонь, — я никогда не встречал, чтобы у людей так потели руки; потом — глаза, в сущности очень красивые глаза, с таким ореховым оттенком, но в то же время неприятные.

Друг, Вася, я сознательно ровняю слог, прибегаю даже к образности, с тем, чтобы в свое время, когда сей «дневник» попадет к тебе в Семипалатинск (есть такая мысль: по окончании любовной интриги, которую завел я с Елизаветой Моховой, переслать тебе его. Пожалуй, чтение этого документа доставит тебе немалое удовольствие), ты имел бы точное представление о происходившем. Буду описывать в хронологическом порядке. Так вот, познакомился я с ней, и втроем пошли мы смотреть какую-то сентиментальнейшую кино-чушь. Боярышкин молчал, у него ломил «кутний», как он выразился, зуб, а я очень туго вел разговор. Мы оказались земляками, т.-е. соседями по станицам, и, перебрав общие воспоминания о красоте степных пейзажей и пр. и пр., умолкли. Я, если можно так выразиться, непринужденно молчал, она не испытывала ни малейшего неудобства от того,

что изжевали мы разговорчик. Я узнал от нее, что она медичка второго курса, а по происхождению купчиха, и очень любит крепкий чай и асмоловский табак. Как видишь, очень убогие сведения для познания девы с ореховыми глазами. При прощании (мы провожали ее до трамвайной остановки) она просила заходить к ней. Адрес я записал. Думаю заглянуть 28 апреля.

29 апреля. Был сегодня у нее, угощала чаем с халвой. В сущности — любопытная девка. Острый язык, в меру умна, вот только арцыбашевщиной от нее попахивает, ощутимо даже на расстояние. Пришел от нее поздно. Набивал папиросы и думал о вещах, не имеющих абсолютно никакого отношения к ней, в частности о деньгах. Костюм мой изношен до дикости, а «капитала» нет. В общем — хреновина.

1 мая. Ознаменован сей день событием. В Сокольниках во время очень безобидного времяпровождения напоролись на историю: полиция и отряд казаков человек в двадцать рассеивали рабочую маевку. Один пьяный ударил лошадь казака палкой, а тот пустил в ход плеть (принято почему-то называть плеть нагайкой, а ведь у нее собственное славное имя, — к чему же?..). Я подошел и ввязался. Обуревали меня самые благородные чувства, по совести говорю. Ввязался и сказал казаку, что он чапура и кое-что из иногo-прочего. Тот-было замахнулся и на меня плетью, но я с достаточной твердостью сказал, что я сам казак Каменской станицы и так могу его помести, что чертям станет тошно. Казак попался добродушный, молодой, служба, видно, не замордовала еще. Ответил, что он станицы Усть-Хоперской и биток по кулачкам. Мы разошлись мирно. Если б он что-либо предпринял по отношению меня, была бы драка и еще кое-что похуже для моей персоны. Мое вмешательство объясняется тем, что в нашей компании была Елизавета, а меня в ее присутствии подмывает этакое мальчишеское желание «подвига». На собственных глазах превращаюсь в петуха и чувствую, как под фуражкой вырастает незримый красный гребень... Ведь вот до чего допер!

3 мая. Запойное настроение. Ко всему прочему нет денег. На развилках, попросту говоря — ниже мотни, безнадежно порвались брюки, репнули, как переспелый задонский арбуз. Надежда на то, что шов будет держаться, призрачна. С таким же успехом можно сшить и арбуз. Приходил Володька Стрежнев. Завтра иду на лекции.

7 мая. Получил от отца деньги. Поругивает в письме, а мне ни крохотки не стыдно. Знал бы батя, что у сына подгнили нравственные стропила... Купил костюм. На галстук даже извозчики обращают внимание. Брился в парикмахерской, на Тверской. Вышел оттуда свежим галантерейным приказчиком. На углу Садовой-Триумфальной мне

улыбнулся городской. Этакий плутишка! Ведь есть что-то общее у меня с ним в этом виде? А три месяца назад? Впрочем, не стоит ворошить белье истории... Видел Елизавету случайно, в окне трамвая. Помахала перчаткой и улыбнулась. Каков я?

8 мая. «Любви все возрасты покорны». Так и представляется мне рот татьяниного муженька, раззявленный, как пушечное дуло. Мне с галереи непреодолимо хотелось плюнуть в рот ему. А когда в уме встает эта фраза, особенно конец: «по-ко-о-о-р-ны-ы-ы...», — челюсти мне судорожно сводит зевота, нервная, по всей вероятности.

Но дело-то в том, что я в своем возрасте влюблен. Пишу эти строки, а волос дыбом... Был у Елизаветы. Очень выпренне и изда-лека начал. Делала вид, что не понимает, и пыталась свести разговор на другие рельсы. Не рано ли? Э, чорт, костюм этот дело попутал.. Погляжусь в зеркало — неотразим, дай, думаю, выскажусь. У меня как-то здравый расчет преобладает над всем остальным. Если не об'ясниться сейчас, то через два месяца будет уже поздно: брюки износятся и обопреют в таком месте, что никакое об'яснение будет немыслимо. Пишу и сам собой восторгаюсь: до чего ярко сочетались во мне все лучшие чувства лучших людей нашей эпохи! Гут вам и нежно-пылкая страсть, и «глас рассудка твердый» Винегрет добродетелей, помимо остальных достоинств

Я так и не кончил предварительной подготовки с ней. Помешала хозяйка квартиры, которая вызвала ее в коридор, и, я слышал, попросила у нее займы денег. Она отказала в то время, как деньги у нее были. Я это достоверно знал, и я представил себе ее лицо, когда она правдивым голосом отказывала, и глаза ее ореховые и вполне искренние. Охота говорить о любви у меня исчезла.

13 мая. Я основательно влюблен. Это не подлежит никакому сомнению. Все признаки налицо. Завтра об'яснюсь. Роли своей я так и не уяснил пока.

14 мая. Дело обернулось неожиданнейшим образом. Был дождь, тепленький такой, приятный. Мы шли по Моховой, плиты тротуара резал косой ветер. Я говорил, а она шла молча, потупив голову, словно раздумывая. Со шляпки на щеку ей стекали дождевые струйки, и она была прекрасна. Приведу наш разговор:

— Елизавета Сергеевна, я изложил вам то, что я чувствую. Слово за вами.

— Я сомневаюсь в подлинности ваших чувств.

Я глупейшим образом пожал плечами и сморозил, что готов принять присягу, или что-то в этом роде. Она сказала:

— Слушайте, вы заговорили языком тургеневских героев. Вы бы попроще.

- Проще некуда. Я вас люблю.
- И что же?
- За вами слово.
- Вы хотите ответного признания?
- Я хочу ответа.
- Видите ли, Александр Иванович..., что я вам могу сказать? Вы мне чуточку нравитесь. Высокий вы очень.
- Я еще подрасту, — пообещал я.
- Но мы так мало знакомы, общность...
- С'едем вместе пуд соли и плотней узнаем друг друга.
- Она розовой ладонью вытерла мокрые щеки и сказала:
- Что ж, давайте сойдемся. Поживем — увидим. Только дайте мне срок, чтобы я могла покончить с моей бывшей привязанностью.
- Кто он? — поинтересовался я.
- Вы его не знаете. Доктор один, венеролог.
- Когда вы освободитесь?
- Я надеюсь к пятнице.
- Мы будем вместе жить? То-есть в одной квартире?
- Да. Пожалуй, это будет удобнее. Вы переберетесь ко мне.
- Почему?
- У меня очень удобная комната. Чисто, и хозяйка симпатичная особа.

Я не возражал. На углу Тверской мы расстались. Мы поцеловались к великому изумлению какой-то дамы

«Что день грядущий мне готовит?»

22 мая. Переживаю медовые дни. «Медовое» настроение омрачено было сегодня тем, что Лиза сказала мне, чтобы я переменял белье. Действительно, белье мое — изношенный кошмар. Но деньги, деньги... тратим мои, их не так-то много. Придется поискать работы.

24 мая. Сегодня решил купить себе на белье, но Лиза ввела меня в непредвиденный расход. Ей дозарезу захотелось пообедать в хорошем ресторане и купить себе шелковые чулки. Пообедали. Но я в отчаянии: ухнуло мое белье!

27 мая. Она меня истощает. Я опустошен физически и напоминаю голый подсолнечный стебель. Это не баба, а огонь с дымом!

2 июня. Мы проснулись сегодня в девять. Проклятая привычка шевелить пальцами ног привела к следующим результатам: она открыла одеяло и долго рассматривала мою ступню. Она так резюмировала свои наблюдения:

— У тебя не нога, а лошадиное копыто. Хуже! И потом эти волосы на пальцах, фи! — она лихорадочно-брезгливо передернула плечами и, укрывшись одеялом, отвернулась к стене

Я был сконфужен. Поджал ноги и тронул ее плечо.

— Лиза.

— Оставьте меня!

— Лиза, это ни на что не похоже. Не могу же я изменить форму своей ноги, ведь делалась она не по заказу. А что касается растительности, то волос — дурак, он всюду растет. Тебе, как медичке, надо бы знать законы естественного развития.

Она повернулась ко мне лицом. Ореховые глаза приняли злой шоколадный оттенок.

— Сегодня же извольте купить присыпанье от пота. У вас трупный запах от ног!

Я резонно заметил, что у нее постоянно мокрые ладони. Она промолчала, а на мою душу, выражаясь высоким «штилем», упала облачная тень... Тут не в ногах дело и не в шерсти...

4 июня. Сегодня мы катались в лодке по Москва-реке. Вспоминали Донцинку. Елизавета ведет себя недостойно: все время она злословит на мой счет, иногда очень грубо. Отвечать ей тем же — значит пойти на разрыв, а этого мне не хочется. Я, несмотря на все, привязываюсь к ней все больше. Она просто избалованная женщина. Боюсь, что моего воздействия будет недостаточно, чтоб в корне перетрясти ее характер. Милая взбалмошная девочка. Притом девочка, выдававшая такие виды, о каких я знал лишь понаслышке. На обратном пути она затащила меня в аптекарский магазин и, улыбаясь, купила тальку и еще какой-то чертовщины.

— Это тебе присыпать от пота.

Я кланялся очень галантно и благодарил.

Смешно, но так.

7 июня. Очень уж убогий у нее умственный пожиток. В остальном-то она любого научит.

Каждый день перед сном мою ноги горячей водой, обливаю одеколоном и присыпаю какой-то сволочью.

16 июня. С каждым днем она становится нетерпимей. С нею был вчера нервный припадок.. С такую тяжело ужиться.

18 июня. Ничего общего! Мы говорим на разных языках. Свяжающее начало — кровать. Выхолощенная жизнь!

Сегодня утром брала она у меня из кармана деньги перед тем, как итти в булочную, и напала на эту книжонку. Вытащила.

— Это что у тебя?

Меня осыпало жаром. Что если откроет одну-две страницы? Я ответил, и сам удивился натуральности своего голоса.

— Книжка для арифметических исчислений.

Она равнодушно сунула ее обратно в карман и ушла. Надо быть осторожней. Остроты с глазу на глаз тогда хороши, когда их не читает чужой.

«Васе-другу — источник развлечения».

21 июня. Я поражаюсь Елизавете. Ей 21 год. Когда она успела так разложиться. Что у нее за семья, как она воспитывалась, кто приложил руку к ее развитию? Вот вопросы, которые меня крайне интересуют. Она дьявольски хороша. Она гордится совершенством форм своего тела. Культ самопочитания, остального не существует. Пробовал несколько раз говорить с ней по-серьезному... Легче старовера убедить в несуществовании бога, чем ее перевоспитать.

Жизнь совместная становится невыносимой и глупой. Однако я медлю с разрывом. Признаюсь, она мне, несмотря на все это, нравится. Вросла в меня.

24 июня. А ларчик просто открывался. Мы по душам говорили сегодня, и она сказала, что я ее физически не удовлетворяю. Разрыв еще не оформлен, на-днях, наверное.

26 июня. Жеребца бы ей со станичной конюшни! Жеребца!

28 июня. Мне тяжело с ней расставаться. Она меня опутала, как тина. Ездили сегодня на Воробьевы горы. Она сидела в номере у окошка, и солнце через резьбу карниза стремительно падало на локон ее волос. Волосы цвета червонного золота. Вот тебе и поэзии шмоток!

4 июля. Работа покинута мною. Я покинут Елизаветой. Пили сегодня с Стрежневым пиво. Вчера пили водку. Расстались с нею, как и полагается культурным людям, корректно, безо всяких и без некоторых. Сегодня видел ее на Дмитровке с молодым человеком в жокейских сапожках. Сдержанно ответила на мой поклон. На этом пора уж и кончить записки, — иссяк родник.

30 июля. Приходится совершенно неожиданно взяться за перо. Война. Взрыв скотского энтузиазма. От каждого котелка, как от червивой собаки, за версту воняет патриотизмом. Ребята возмущены, а я обрадован. Меня сжирает тоска по... «утерянном рае». Вчера очень скромно видел во сне Елизавету. Она оставила тоскующий след. Рассеяться бы...

1 августа. Шумиха приелась. Вернулось давнишнее, тоска. Сосу ее, как ребенок соску.

3 августа. Выход. Иду на войну. Глупо? Очень. Постыдно?

Полно же! Мне же некуда деть себя. Хоть крупницу иных ощущений. А ведь этой пресыщенности не было два года назад. Старею, что ли?

7 августа. Пишу в вагоне. Только сейчас выехали из Воронежа. Завтра слезать в Каменской. Решил твердо: иду за «веру, царя и отечество».

12 августа. Мне устроили торжественные проводы. Атаман подвыпил и двигал зажигательную речь. После я ему сказал шопотом: «Дурак вы, Андрей Карпович!». Он изумился и обиделся до зелени на щеках. Прошипел язвительно: «А тоже образованный, вы не из тех, каких мы в 1905 году пороли плетьюми?». Я ответил, что, к моему сожалению, «не из тех», и посоветовал ему примкнуть к эсдекам. Отец плакал и лез целоваться, а нос в соплях. Бедный, милый отец. Тебя бы в мою шкуру. Я ему в шутку предложил итти со мной, и он испуганно воскликнул: «Что ты, а хозяйство?» Завтра выезжаю на станцию.

13 августа. Неубранные кое-где хлеба. Жирные на кургашках сурки. Фазительно похожи на тех немцев на дешевой литографии, которых Козьма Крючков нанизывает на пику. Жил-был, здравствовал, изучал математику и прочие точные науки и никогда не думал, что стану таким «шовинистом». Уж в полку я с казаками погутарю.

22 августа. На какой-то станции видел первую партию пленных. Статный австрийский офицер с спортсменской выправкой шел под конвоем на вокзал. Ему улыбнулись две барышни, гулявшие по перрону. Он на ходу очень ловко раскланялся и послал им воздушный поцелуй.

Даже в плену чисто выбрит, и желтые краги лоснятся. Я проводил его взглядом: красивый, молодой парень, милое товарищеское лицо. Столкнись с таким — и рука шашку не поднимет.

24 августа. Беженцы, беженцы, беженцы... Все пути заняты составами с беженцами и солдатами.

Прошел первый санитарный поезд. На остановке из вагона выскочил молодой солдат. Повязка на лице. Разговорились. Ранило картечью. Доволен ужасно, что едва ли придется служить, — поврежден глаз. Смеется.

27 августа. Я в своем полку. Командир полка очень славный старичок. Казак из низовских. Тут уже попахивает кровницей. По слухам послезавтра на позицию. Мой третий взвод, третьей сотни из казак-Константиновской станицы. Серые ребята. Один только балагур и песенник.

28 августа. Выступаем. Сегодня особенно погромыживает там. Впечатление такое, как будто находит гроза и рушится делекий гром. Я даже принохался: не пахнет ли дождем? — но небо — сатиновое, чистенькое.

Конь мой вчера захромал. Ушиб ногу о колесо походной кухни. Все ново, необычно, и не знаю, за что взяться, о чем писать.

30 августа. Вчера не было времени записать. Сейчас пишу на седле. Качает, и буквы ползут из-под карандаша несуразно чудовищные. Едем трое с фуражирками за травой.

Сейчас ребята увязывают, а я лежу на животе и «фиксирую» с запозданием вчерашнее. Вчера вахмистр Толоконников послал нас шестерых в рекогносцировку. (Он презрительно величает меня «студентом»: «Эй, ты, студент, подкова у коня отрывается, а ты и не видишь?»). Проехали какое-то полусожженное местечко. Жарко. Лошади и мы мокрые. Плохо, что казакам приходится и летом носить суконные шаровары. За местечком в канаве увидел первого убитого. Немец. Ноги по колено в канаве, сам лежит на спине. Одна рука подвернута под спину, в другой зажата винтовочная обойма. Винтовки около нет. Впечатление ужаснейшее. Восстанавливаю в памяти пережитое, — и холодок идет по плечам... У него была такая поза, словно он сидел свесив ноги в канаву, а потом лег отдыхая. Серый мундир, каска. Видна кожаная подкладка лепестками, как в папиросах, для того, чтобы не просыпался табак. Я так был оглушен этим первым переживанием, что не помню лица убитого. Видел лишь желтых крупных муравьев, ползавших по желтому лбу и остекляевшим прищуренным глазам. Казаки проезжая крестились. Я смотрел на пятнышко крови с правой стороны мундира. Пуля ударила его в правый бок на вылет. Проезжая, заметил, что с левой стороны, там, где она вышла, — пятно, и подтек крови на земле гораздо больше, и мундир вырван хлопьями. Я проехал мимо содрогаясь. Так вот оно что...

Старший урядник, Трундилай по прозвищу, пытался поднять наше упавшее настроение, рассказывал похабный анекдот, а у самого губы дрожали.

В полверсте от местечка — стены какого-то сожженного завода, кирпичные стены с задымленными черными верхушками. Мы побоялись ехать прямо по дороге, так как она лежала мимо этого пепелища, и решили его околесить. Поехали в сторону, и в это время оттуда в нас начали стрелять. Звук первого выстрела, как это ни стыдно, едва не вышиб меня из седла. Я вцепился в луку и по инерции нагнулся, дернул поводья. Мы скакали к местечку мимо той канавы с убитым немцем, опомнились только тогда, когда местечко осталось сзади. Потом мы вернулись. Спешились. Лошадей оставили с двумя коноводами, а сами четверо пошли на край местечка к той канаве. Мы пригинаясь шли по этой канаве. Я еще издали увидел ноги убитого немца в коротких желтоватых сапогах, остро согнутые колени. Я шел мимо него, за-

таив дыхание, как мимо спящего, словно боялся разбудить. Под ним влажно зеленела примятая трава...

Мы залегли в канаве, и через несколько минут из-за развалин сожженного завода гуськом выехали девять человек немецких улан. Я угадал их по форме. Офицер, отделяясь, что-то крикнул резким гортанным голосом, и их отрядик поскакал по направлению к нам. Ребята кричат, чтобы я помог им траву увязать. Иду.

30 августа. Мне хочется досказать, что я в первый раз стрелял в человека, когда немецкие уланы поскакали на нас (как сейчас перед глазами встают их зеленовато-серые мундиры окраски ящерицы - медянки, лоснящиеся раструбы киверов, пики, колыхающиеся, с флажками).

Под уланами были караковые лошади. Я зачем-то перевел взгляд на насыпь канавы и увидел небольшого изумрудного жука. Он вырос в моих глазах и принял чудовищные размеры... Исполином полз он, качая травяные былинки, к локтю моему, упертому в высохшую крупчатую глину насыпи, вскарабкался по рукаву моей защитной гимнастерки и быстро сполз на винтовку, с винтовки на ремень. Я проследил за его путешествием и услышал срывающийся голос урядника Трундиля:

— Стреляйте, што ж вы?!

Я установил тверже локоть, зажмурил левый глаз, почувствовал, что сердце мое пухнет, становится таким же огромным, как тот изумрудный жук. В прорези прицельной камеры, на фоне серовато-зеленого мундира, дрожала мушка. Рядом со мной выстрелил Трундиль. Я пожал спуск и услышал стонущий полет моей пули. По всей вероятности, я снизил прицел, и пуля рикошетом срывала с кочек дымки пыли. Первый по человеку выстрел. Я расстрелял обойму не целясь, не видя ничего перед собой. В последний раз двинул затвором, щелкнул, позабыл, что патронов нет, и только тогда глянул на немцев. Они так же стройно скакали назад. Сзади всех офицер. Их было девять, и я видел караковый круп офицерского коня и металлическую пластинку верха его уланского кивера.

2 сентября. У Толстого в «Войне и мире» есть место, где он говорит о черте, между двумя неприятельскими войсками, черте неизвестности, как бы разделяющей живых от мертвых. Эскадрон, в котором служил Николай Ростов, идет в атаку, и Ростов мысленно определяет эту черту. Мне особенно ярко вспомнилось сегодня это место романа, потому что сегодня на заре мы атаковали немецких гусар. С утра их части, превосходно подкрепленные артиллерией, теснили нашу пехоту. Я видел, как наши солдаты, кажется, 214-й и 273-й пе-

хотные полки, бежали панически. Они были буквально деморализованы в результате неудачного наступления, когда два полка без артиллерийской поддержки пошли в наступление и были сбиты огнем противника и уничтожены чуть не на треть всего состава. Нашу пехоту преследовали немецкие гусары. Тут-то и был введен в дело наш, стоявший на лесной просеке, в резерве, полк. Вот как помнится мне это дело: мы вышли из деревни Тышвечи в третьем часу утра. Густела предрассветная тьма. Остро пахло сосновой хвоей и овсяными хлебами. Полк шел разбитый на сотни. С проселка свернули влево и пошли по хлебам. Лошади шли пофыркивая, копытами обивая сочную росу с овов. Прохладно даже в шинели. Полк долго таскали по полю, и уже через час из штаба полка прискакал офицер и отдал распоряжение командиру. Наш старик недовольным голосом передал команду, и полк под прямым углом свернул к лесу. Мы в взводных колоннах жались на узкой просеке. Где-то левее нас шел бой. Действовали немецкие батареи, судя по звукам — в большом количестве. Звуки выстрелов колебались: казалось, что выше нас горит эта пахучая сосновая хвоя. Мы были слушателями до восхода солнца. Потом продрожало «ура», вялое, жалкое такое, бессочное и — тишина, пронизанная чистой работой пулеметов. В эту минуту так бестолково толпились мысли; единственное, что я представлял в эту минуту до режущей боли отчетливо и ясно, — это многоликое лицо нашей пехоты, идущей в наступление цепями.

Я видел мешковатые, серые фигуры, в блинчатых защитных фуражках, в грубых, ниже колен, солдатских сапогах, топчущие осеннюю землю, и слышал отчетливый хриповатый смешок немецких пулеметов, перерабатывающих этих живых потных людей в трупы. Два полка были сметены и бежали, бросая оружие. На плечах шел полк немецких гусар. Мы очутились у них с фланга на расстоянии 300 или меньше сажен. Команда. Строимся моментально. Слышу единственное, холодное, сдерживающее, как удила, — «марш, марш!» — и летим. Уши моего коня прижаты так плотно, что, кажется, рукой их не оторвать. Оглядываюсь: сзади командир полка и два офицера. Вот она, черта, разделяющая живых и мертвых! Вот оно, великое безумие!

Гусары мнут свои изломанные ряды и поворачивают назад. На моих глазах сотник Чернецов зарубил немецкого гусара. Видел, как один казак шестой сотни, догоняя немца, осумасшедше рубил его лошадь по крупу; от взлетающей шашки лоскутьями отскакивала кожа... Нет, это немислимо. Этому названья нет! После того как вернулись, видел лицо Чернецова; сосредоточенно, сдержанно-весело, за преферансом сидит, а не в седле, после убийства человека. Далеко пойдет сотник Чернецов! Способный!

4 сентября. Мы на отдыхе. К фронту стягивается 4-я дивизия 2-го корпуса. Стоим в местечке Кобылино. Сегодня утром через местечко форсированным маршем прошли части 2-й кавалерийской дивизии и уральские казаки. На западе идут бои. Бесперывный гул. После обеда ходил к лазарету. При мне подошел транспорт с ранеными. Санитары, разгружая одну четырехколку, посмеиваются. Подхожу. Рябой, высокий солдат, охая и улыбаясь, слезает при помощи санитара.

— Вот, казачок, — говорит он, адресуясь ко мне, — сыпанули мне горохом в задницу. Четыре картечины получил.

Санитар спрашивает:

— Сзади разорвался снаряд-то?

— Какой там сзади. Я сам задом наступал.

.

Из халупы вышла сестра милосердия. Я глянул на нее, и дрожь заставила прислониться к повозке. Сходство с Елизаветой необычайное. Те же глаза, овал лица, нос, волосы; даже голос похож. Или это мне так кажется? Теперь я, пожалуй, в любой буду находить сходство с нею...

5 сентября. Сутки кормили лошадей на коновязях, а сейчас опять туда. Физически я разбит. Трубач льет седловку. Вот в кого в данный момент я с наслаждением выстрелил бы!

.

Григория Мелехова командир сотни прислал для связи со штабом полка. Проезжая место недавних боев, он увидел у самого шоссе убитого казака. Он лежал, прижав белокурую голову к вышербленному лошадиными копытами щелбну шоссе Григорий слез и, зажимая нос (от мертвого разило густо сладким трупным запахом), обыскал его. В кармане шаровар нашел эту книжку, огрызок химического карандаша и кошелек. Снял патронташ и мельком оглядел бледное, влажное, уже начавшее разлагаться лицо. На висках и у переносья оно мокро, бархатисто чернело, на лбу в косой морщине мертвого, сосредоточенного раздумья, темнела пыль.

Григорий накрыл лицо убитого батистовым, найденным в кармане хозяйина платком и поехал в штаб, изредка оглядываясь.

Книжку передал в штабе писарям, и те, скопом перечитывая ее, посмеялись над чужой коротенькой жизнью и ее земными страстями.

(Продолжение в следующем номере)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРК КОЛОСОВ — Три встречи (рассказ) . . .	3
П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК — Дикое поле (роман). продолжение	11
АННА КАРАБАЕВА — Лесозавод (роман), про- должение	54
СТИХИ—Мих. Исаковского, Акопа-Акопя- на, И. Доронина, М. Ершовой, В. Вармужа	117—123
А. ГАМБАРОВ — В трясине (рассказ)	124
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон (роман), продол- жение	146
СТИХИ—Н. Райкова, Д. Петровского, Ф. До- брынина, В. Гусева, М. Юрина	217—225

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

Е. ЛОМТАТИДЗЕ — Зарисовки карандашом	226
--------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРА

И. ЛАЗЬЯН — Решения XV партс'езда и со- временная художественная литература	245
В. ВЕШНЕВ — Преступление Вл. Бахме- тьева	259

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Селивановский, В. Вешнев, Перекати- Поле, А. Тарасенков, В. Тихонов, Борей, Ю. Данилин	285—294
---	---------